Р2
В75

Текст печатается по изданию:
«Убиты под Москвой»,
Красноярское книжное издательство, 1983.

Воробьев К. Д.

В75 Крик: Повесть.— М.: Современник, 1984.— 48 с.

В пер.: 20 коп.

Константин Воробьев — участник Великой Отечественной войны. Повесть «Крик», в которой воссоздан один из эпизодов осени 1941 года, одно из лучших произведений писателя.

В $\frac{4702010200 - 220}{М106(03) - 84}$ без объявл. ББК84Р7 Р2

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ ВОРОБЬЕВ

КРИК

Повесть

Редактор *Ю. Бондарев*
Художник *Ю. Космынин*
Художественный редактор *Г. Саленков*
Технический редактор *Л. Анашкина*
Корректор *О. Червякова*

ИБ № 3797. Сдано в набор 06.04.84. Подписано к печати 04.06.84. Формат 84х108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 2,52. Усл. краск.-отт. 2,72. Уч.-изд. л. 3. Тираж 1 200 000 экз. I завод (1—300 000) экз. Заказ 1649. Цена 20 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах. Я ходил и косил глазами на малиновые концы воротника своей шинели, и у меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант. Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за десять от него готовил правую руку для ответного приветствия, и, если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно-гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» Обычно красноармеец становился по команде «смирно» и отвечал чуть-чуть иронически: «Не заметил вас, товарищ лейтенант!» Никто из них не говорил при этом «младший лейтенант», и это делало меня их тайным другом.

Наш батальон направлялся тогда на фронт в район Волоколамска. Мы шли пешим порядком от Мытищ и на каждом привале рыли окопы. Сначала это были настоящие окопы,— мы думали, что тут, под самой Москвой, и останемся, но потом бесполезный труд осточертел всем, кроме командира батальона майора Калача. Он был маленький и кривоногий и, наверно, поэтому носил непомерно длинную шинель. Мой помощник старший сержант Васюков назвал его на одном из привалов «бубликом». Взводу это понравилось, а майору нет,— кто-то был у нас стукачом. После этого Калач каждый раз лично проверял качество окопа, отрытого моим взводом. У всех у нас — я тоже рыл — на ладонях вспухли кровавые мозоли: земля была мерзлой — стоял ноябрь.

На шестой день своего землеройного марша мы вступили в большое село. Было уже под вечер, и мы долго стояли на улице — Калач с командирами рот сверял местность с картой. Весь день тогда падал редкий и теплый снег. Может, оттого что мы шли, снежинки не прилипали к нашим шинелям, и только у майора — он ехал верхом — на плечах лежали белые, пушистые эполеты. Он так осторожно спешился, что было видно — ему не хотелось отряхивать с себя снег.

— Гляди-ка, товарищ лейтенант! Бублик наш подрос!

Это сказал мне Васюков на ухо, и мне не удалось спра-

виться с каким-то дурацким бездумным смехом. Майор оглянулся, посмотрел на меня и что-то сказал моему командиру роты. Я слышал, как тот ответил: «Никак нет!»

Село стояло ликом на запад, и мы начали окапываться метрах в двухстах впереди него, почти на самом берегу ручья. Воды в нем было по колено, и она казалась почему-то коричневой. Моему взводу достался глинистый пригорок на правом фланге в конце села. Дуло тут со всех сторон, и мы завидовали тем, кто окапывался в низинке слева.

— Застынем за ночь на этом чертовом пупке,— сказал Васюков.— Может, спикировать в хаты за чем-нибудь?

Я промолчал, и он побежал в село. У него была плоская стеклянная фляга с длинным узким горлом, оплетенная лыком. Он носил ее на брючном ремне, и она не выпирала из-под шинели. Васюков называл ее «писанкой».

Я ждал его часа полтора. За это время на нашем чертовом пупке побывали Калач и командир роты.

— Окоп отрыть в полный профиль,— распорядился Калач.— Отсюда мы уже не уйдем.

Когда они ушли, я спустился к ручью. Он озябло чурюкал в кустах краснотала. За ним ничего не виделось и не слышалось. Мне не верилось, что мы не уйдем отсюда.

Васюков ожидал меня, сидя на краю полуотрытого окопа.

— Не достал,— шепотом сообщил он.— Шинель хотят...

— За сколько? — спросил я.

— За пару литров первача... Жителей совсем мало. Ушли.

— А за что сам тяпнул? — поинтересовался я.

— Да не-е, это я пареных бураков порубал,— сказал он.

Лишних шинелей у нас еще не было. А Васюков все же выпил,— я с самых Мытищ знал, чем отдает самогон из сахарной свеклы.

— Между прочим, тут есть валяльня,— сказал он.— Полный амбар набит валенками. И никого, кроме кладовщицы... Бабец, между прочим, под твой, товарищ лейтенант, рост, а под мою...

— Давай-ка рыть,— предложил я.— Отсюда мы, между прочим, не уйдем, понял?

Становилось совсем темно, но мы продолжали работать и ругаться,— ветер дул с запада и забивал глаза землей и снегом.

— Если на самом деле тут засядем, то не худо бы первыми захватить валенки, а? — сказал Васюков. От него хорошо все-таки пахло. Закусывал он, видать, не бураками. Он был прав насчет валенок. Хотя бы несколько пар. Почему не попытаться?

— Давай сходим,— сказал я.

Село как вымерло. Нигде ни огонька, ни звука — даже собаки не брехали. Мы миновали сторонкой школу, где разместился на ночь штаб батальона, потом завернули в темный двор, и там я минут десять ждал Васюкова. Из хаты он выходил шагом балерины, но сначала я увидел белую чашку, а затем уже его протянутые руки.

— Держи,— таинственно сказал он, и, пока я пил самогон, он не дышал и вырастал на моих глазах — приподнимался на цыпочки.

После этого мы выбрались на огороды села. У приземистого деревянного амбара Васюков остановился и постучал ногой в дверь.

— Ктой-то? — песенно отозвался в амбаре чуть слышный голос.

— Мы,— сказал Васюков.

— А кто?

— Командиры,— сказал я.

Амбар и на самом деле был забит валенками. Они ворохами лежали по углам и подпрыгивали — мигала «летучая мышь», стоявшая у дверей на полу. Я приподнял фонарь и увидел у притолоки девушку в черной стеганке, в большой черной шали, в серых валенках. Она держала в руках железный засов.

В жизни своей я не видел такого дива, как она! Да разве об этом расскажешь словами? Просто она не настоящая была, а нарисованная — вот и все!..

— Ну что я говорил?— сказал Васюков.

Я сделал вид, будто не понял, о чем он, и сказал:

— Забираем сейчас же!

— Все?— обрадованно спросила девушка, глядя на меня так же, как и я на нее.

— Пока тридцать две пары,— сказал Васюков.

Он подмигнул мне и побежал во взвод за бойцами, а мы остались вдвоем. Мы долго молчали и почему-то уже не смотрели друг на друга, будто боялись чего-то, потом я спросил:

— Кладовщицей работаете тут?

Она ничего не сказала, вздохнула и поправила шаль, не выпуская из рук засова. Да! Ни до этого, ни после я не встречал такой живой красоты, как она. Никогда! И Васюков говорил правду — ростом она была почти с меня.

Я всегда был застенчив с девушкой, если хотел ей понравиться, и сразу же превращался в надутого индюка, как только оставался с нею наедине. Что-то у меня замыкалось внутри и каменело, я молчал и делал вид, что мне все безразлично. Это наверно, оттого, что я боялся показаться смешным, неумным.

Все это навалилось на меня и теперь. Я щурил глаза, начальственно осматривал вороха валенок, стены и потолок амбара. Руки я держал за спиной. И покачивался с носков на каблуки сапог, как наш Калач.

— А расписку я получу? — спросила хозяйка валенок. Я понял, что подавил ее своим величием и кубарями, и молча кивнул.

— Ну, тогда пишите,— сказала она.

Я написал расписку в получении тридцати двух пар валенок от колхоза «Путь к социализму» и подписался крупно и четко: «Командир взвода воинской части номер такой-то м. лейтенант Воронов». Я проставил число, часы и минуты совершения этой операции. Она прочла расписку и протянула ее мне назад:

— Не дурите. Мне ж правда нужен документ!

— А что там не так? — спросил я.

— Фамилия,— сказала она.— Зачем же вы мою ставите? Не дурите... — Никогда потом я не предъявлял никому своих документов с такой горячей радостью, почти счастьем, как ей! Она долго рассматривала мое удостоверение — и больше фотокарточку, чем фамилию,— потом взглянула на меня и засмеялась, а я спросил:

— Хотите сахару?

Я достал из кармана шинели два куска рафинада и сдул с них крошки махорки.

— Берите, у меня его много,— зачем-то соврал я.

Она взяла стыдливо, покраснев, как маков цвет, и в ту же минуту в амбар ввалился Васюков с четырьмя бойцами. Конечно, он пришел не вовремя — мало ли что я мог теперь сказать и, может, подарить еще кладовщице! Она стояла, отведя руку назад, пряча сахар и глядя то на вошедших, то призывно на меня, и я, ликуя за эту нашу с нею тайну на двоих, встал перед нею, загородив ее, и не своим голосом распорядился отсчитать валенки.

Через минуту она вышла на середину амбара. Руки ее были пусты.

Васюкову не хотелось нагружаться, но связывать валенки было нечем, а каждый боец мог унести лишь шесть-семь пар.

— Давай забирай остальные,— сказал я ему.

— А может, кто-нибудь из бойцов вернется за ними? — спросил он, но, взглянув на меня, взял валенки.

— Пошли,— сказал я всем и оглянулся на кладовщицу.— А вы разве остаетесь?

— Нет... Я после пойду,— сказала она. Васюков протяжно свистнул и вышел. Я догнал его за углом амбара.

— Смотри там за всем, я скоро! — сказал я.

— Да ладно! — свирепо прошептал он.— Гляди только, не подхвати чего-нибудь в тряпочку...

Я постоял, борясь с желанием идти во взвод, чтобы как-нибудь нечаянно не потерять то хорошее и праздничное чувство, которое поселилось уже в моем сердце, но потом все же повернул назад, к амбару. Внутрь я не пошел. Я заглянул в дверь и сказал:

— Я вас провожу, хорошо?

— Так я же не одна хожу,— песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину.

— А с кем? — спросил я.

— С фонарем.

Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был третий, лишний, как Васюков, и я сказал:

— С фонарем нельзя теперь. Село на военном положении...

В темноте мы долго запирали амбар,— петля запора не налезала на какую-то скобу, и мне надо было нажимать плечом на дверь. Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, поскользнувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно увидел ее глаза — испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью.

— Я нечаянно. Ей-богу! — искренне сказал я. — Вам очень больно?

— Да не-ет,— протянула она шепотом.— Сейчас пройдет.

— Подождите... Дайте я сам,— едва ли понимая смысл своих слов, сказал я.

— Что? — спросила она, отняв ладонь от глаза. Тогда я обнял ее и поцеловал в раскрытые, ползущие в сторону девичьи губы. Они были прохладные, упруго-безответные и я ощутил на своих губах клейкую пудру сахара.

Странное, волнующее и какое-то обрадованно-преданное и поощряющее чувство испытывал я в тот момент от этого сахарного вкуса ее губ. Я недоумевал, когда же она успела попробовать сахар, и было радостно, что сахар этот был моим подарком, и мне хотелось сказать ей спасибо за то, что она попробовала его украдкой... Я думал об этом, насильно целуя ее и чувствуя слабеющую силу ее рук, упершихся мне в грудь. О том, что она заплакала, я догадался по вздрагивающим плечам,— лицо ее было в моей власти, но я его не видел, и испугался, и стал умолять простить меня и гладить ее голову обеими руками.

— Я хороший! — убежденно, почти зло сказал я.— У меня никогда никого не было... Вот увидишь потом сама!

Что и как могла она увидеть потом, я до сих пор не знаю

и сам, но я говорил правду, и, видно, она ее услышала, потому что перестала плакать.

— Я больше не прикоснусь к тебе пальцем! — верующе сказал я. Она подняла ко мне лицо, держа сцепленные руки на груди, и с укором сказала:

— Хоть бы узнали сначала, как меня зовут!

— Машей,— сказал я.

— Мари-инкой,— протяжно произнесла она, а я качнулся к ней и закрыл ее рот своими губами. Я чувствовал, что вот-вот упаду, и вдруг блаженно обессилел; я куда-то падал, летел, и мне не хватало воздуха. Я разнял свои руки и прислонился к стене амбара, а Маринка кинулась прочь.

— Подожди! — крикнул я.— Подожди минуточку!

Она вернулась, издали тронула пальцем пуговицу на моей шинели и сказала:

— Ну что это вы? А шапка где?

Она нашла ее под ногами и протянула мне.

— Мари-и-инка,— произнес я как начальное слово песни и стал целовать ее — напряженную, трепетную, прячущую лицо мне под мышку.

— Не надо... Пожалуйста! Ну разве так можно!..

— Скажи: «Ты, Сергей», — просил я.

— Нет, — отбивалась она.— Не буду...

— Почему?

— Я боюсь...

— Чего?

— Не знаю...

— Ты мне не веришь?

— Не знаю... Я боюсь... И, пожалуйста, не нужно больше целоваться!

— Хорошо! — отрешенно и мужественно сказал я.— Больше я к тебе пальцем не прикоснусь!

До ее дома мы дошли молча. Она поспешно и опасливо скрылась за калиткой палисадника и, невидимая в черных кустах, песенно сказала:

— До свидания!

— Я приду завтра! — шепотом крикнул я.

— Нет-нет. Не надо!

— Днем приду, а потом еще вечером... Хорошо?

— Я не знаю...

Через пять минут я был в окопе.

В девять утра на наш пупок прибыл Калач в сопровождении своего начальника штаба и нашего командира роты.

— Младший лейтена-а-ант!— не останавливаясь, идя с подсигом, как все маленькие, закричал Калач еще издали, и я

враз догадался, что сейчас будет, — ему доложили о валенках. Может, еще ночью кто-то стукнул, черт бы его взял! Я побежал к нему, остановился метров за пять и так врезал каблуками, что он аж вздрогнул.

— Командир второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона младший лейтенант Воронов по вашему приказанию явился!

У меня получилось это хорошо, и, наверно, я правильно смотрел в глаза майору, потому что он скосил немножко голову, как это делают, когда разглядывают что-нибудь интересное, потом обернулся к командиру роты:

— Видал орла?

Капитан Мишенин прищурился на меня и вдруг подмигнул. Ему не нужно было это делать — я ведь тогда весь был захвачен широкой и бездонной радостью, поэтому не выдержал и засмеялся.

— Что-о? — рассвирепел Калач. — Тебе весело? Мародерствуешь, а потом зубы скалишь? В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ майор! — доложил я.

— Куда девал государственное имущество? — спросил он. Я не совсем понял, и тогда Мишенин негромко сказал:

— Это кооперативное, товарищ майор.

— Все равно! — отрезал Калач. — Где валенки, я спрашиваю?

— У бойцов на ногах,— ответил я.

— На ногах? — опешил майор. — Сейчас же возвратить! Немедленно! Самому!

— Есть возвратить самому! — повторил я и обернулся к окопу: — Разуть валенки-и!

Я любил в эту минуту Калача. Любил за все — за его рост, за то, что он майор, за его ругань, за то, что он приказал мне самому отнести валенки в амбар... Они все, кроме двух пар, были изрядно испачканы землей и растоптаны, и бойцы начали чистить их, а Васюков, когда удалилось начальство, спросил меня:

— Может, вдвоем будем таскать?

— А ты не слыхал, что сказал майор? — ответил я. — Мне одному приказано.

— Да откуда он узнает!

— От стукача, который доложил ему!

— Это верно,— вздохнул он.

Я захватил под мышки шесть пар валенок и побежал к амбару, и за дорогу раза три складывал валенки на землю, и поправлял на себе то шапку, то ремень и портупею. Сердце у меня давало, наверно, ударов полтораста в минуту, и когда я увидел запертые двери амбара, то даже обрадовался —

я боялся увидеть Маринку днем, боялся показаться сам ей.

Я долго сидел на крыльце амбара — курил и глядел в поле, и когда от махры позеленело в глазах, неожиданно решил идти за Маринкой.

В селе оказалось много изб с палисадниками, и я выбрал тот, где кусты были погуще, и, ссыпав валенки во дворе, постучал в двери сеней. Я на всю жизнь запомнил дверь эту — побеленную зачем-то известью, с засаленной веревочкой вместо ручки. Большими печатными буквами-раскоряками пониже веревочки объявлялось:

«МАРИНКА — ДУРА»

Открыл мне пацаненок лет семи, — это был Колька, Маринкин братишка, как узнал я потом.

— Марина Воронова тут живет? — спросил я его.

— Она сичас не живет, — сказал Колька, — она за водой пошла.

Я сошел с крыльца и увидел Маринку, входившую с ведрами в калитку. Заметив меня, она даже подалась назад и покраснела так, что мне стало ее жалко.

— Вот принес валенки,— сказал я вместо «здравствуй».

— Не налезли? — виновато спросила Маринка. Ближнее ко мне ведро раскачивалось на коромысле, и вода плескалась на мои сапоги.

— Налезли,—сказал я,—но приказано вернуть. Все. Ясно?

— Ага, — сказала Маринка.—Сейчас выйду. Подождите...

Я подобрал валенки и пошел со двора, но меня окликнул Колька:

— А ты красноармеец или командир?

— Командир, — сказал я, и в это время из сеней вышла Маринка, и я был благодарен Кольке за его вопрос: мне казалось, что она тоже не знает, что я лейтенант, хоть и младший.

По улице села мы прошли молча — я впереди, а она сзади, и когда на околице я оглянулся, Маринка остановилась и начала хохотать, как сумасшедшая, взглядывая то на мое лицо, то на валенки. Конечно, я, наверно, был смешон до нелепости.

— Ну и что тут такого? Подумаешь! — сказал я, выронил валенки и пнул их ногой. Обессилев от смеха, Маринка повалилась прямо на снег. Я кинулся к ней и губами отыскал ее рот.

— Увидят же... все село... бешеный, — не просила, а стонала она, да мне-то что было до этого? Хоть весь мир пускай бы смотрел!

Кое-как мы дошли до амбара,— как только она начинала хохотать, я бросал валенки и целовал ее. На крыльце амбара она пожаловалась:

— У меня уже не губы, а болячки. Хоть бы не кусался...

— Больше не буду,— сказал я.

— Да-а, не будешь ты...

Разве мог я после этого сдержать свое слово?

Когда я вернулся в окоп за очередной порцией валенок, взвод мой гудел, как улей:

— Товарищ лейтенант! Давайте отнесем разом, и шабаш! Что же вы будете мотаться один до обеда?!

Знали бы они, что я согласен «мотаться» так не только до обеда, а хоть до конца своей жизни. Конечно, я не позволил бойцам помочь мне, сославшись на приказ Калача...

Подходя к амбару, я еще издали услыхал музыку Маринкиного голоса. Она пела «Брось сердиться, Маша...»

То, чего я больше всего боялся и не хотел,— возможного марша вперед,— в этот день не случилось: мы остались на месте. Я чуть дожил до темноты: в двадцать ноль-ноль мы договорились с Маринкой встретиться у амбара. Перед моим уходом у нас состоялся с Васюковым мужской разговор.

— Почапал, да? — мрачно спросил он. — А что сказать, ежели начальство явится?

— Скажи, что я забыл свою расписку на валенки. Скоро вернусь.

— Порядок! — сказал Васюков.— Гляди, распишись там, как положено. В случае нужды — свистни. Поддержу...

Я поманил его подальше от окопа.

— Если ты хоть один раз еще скажешь это, набью морду. Понял? — решенно пообещал я.

— Так я же думал... Я ж ничего такого не сказал,— растерянно забормотал он.— Мне-то что?

На следующий день утром через ручей переправилась какая-то кавалерийская часть. Маленькие заморенные кони были одной масти — буланой, и до того злы, что кидались друг на друга. Они грудились в улице села, привязанные к плетням и изгородям, а кавалеристы шли и шли с котелками к нашим кухням. Изголодались, видать, ребята.

День был низенький, туманный и тихий, как в апреле, и все же в обед черти откуда-то принесли к нам девятку «юнкерсов». Бомбили они не окопы, а село, и сбросили ровно девять бомб. Я сам считал удары. От них подпрыгивал весь наш пупок,— до такой степени взрывы были мощны и подземно-глухи.

— Железобетонные, — сказал Васюков. — Из цемента. По тонне каждая. Я точно знаю!

— Ну и что? — спросил я.

— А ничего. Воронка с хату. Озеро потом нарождается...

Над селом клубился серый прах: истошно, не по-лошадиному визжали и ржали кони, кричали и стреляли куда-то кавалеристы, хотя «юнкерсы» уже скрылись. Я схватил Васюкова за локоть. Он отвел глаза и отчужденно сказал:

— Ну, тут... сам понимаешь. Они могут сейчас завернуть и к нам. Так что решай, где ты должен находиться...

— Пять минут!— сказал я.— Только взгляну, узнаю... Ну?!

Он молчал, и я отвернулся к ручью и стал закуривать.

Удивительно, какая осмысленная, почти человечья мука может слышаться в лошадином ржании!

— Вообще-то можно и сбегать, — сказал позади меня Васюков. — Ну, сколько тут? Двести метров!

Я сунул ему незажженную цигарку и бросился в село. На улице валялись снопы соломы, колья и слеги заборов — это сразу, а глубже, уже недалеко от Маринкиной хаты, я увидел огромную, круглую воронку, обложенную мертвыми пластами смерзшейся земли. Рядом с нею, у раскиданного плетня, высокий смуглолицый кавалерист, одетый в бурку и похожий на Григория Мелехова, остервенело пинал сапогами в разорванный сизый пах коня, пробуя освободить седло. Конь перебирал, будто плыл, задранными вверх ногами, тихонько ржал, изгибал длинную мокрую шею, заглядывал на свой живот, и глаза у коня были величиной в кулак, чернильно-синие, молящие.

Через минуту я увидел — нет, не Маринкину еще — разрушенную хату. Наверно, тут было прямое попадание, потому что даже печка не сохранилась. Да там вообще ничего не уцелело. Просто это была исковерканная куча бревен и соломы, осевшая в провал.

В тесовой крыше Маринкиной хаты, прямо над сенцами, темнела большая, круглая дыра. Во дворе и на крыльце валялась пегая щепа дранки. Я решил, что крышу прободал осколок. Цементный. Но дыра была чересчур велика, и у меня похолодело во рту: «Бомба замедленного действия!» Я мысленно увидел ее почему-то никелированно-блестящей, тикающей и побежал со двора пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов. Я то и дело оглядывался и видел белую дверь и веревочку, а пониже ее, там, где вчера было «Маринка дура» — бурое продолговатое пятно. «Стерла, чтобы я опять когда-нибудь не прочитал»,—понял я и повернул назад.

Дверь я открыл с ходу, плечом, и в полутьме сеней, под белым столбом света, проникавшего в дыру крыши, увидел

лошадь. Она лежала комком, подвернув под себя ноги и голову, и на ее мертвой спине выпячивалось и блестело медной оковкой новенькое комсоставское седло.

В хате никого не было, но на столе, в крошеве стекла, лежал хлеб, три ложки и стоял чугунок. От него шел пар, — окна на улицу были разбиты. Я заглянул в чулан и позвал:

— Есть кто-нибудь?

— Есть! — слабо донесся откуда-то Колькин голос.

— Где ты? — спросил я.

— А тут... В погребе!

Прямо у моих ног приоткрылся люк, и Колька вылез первым, за ним мать, а потом Маринка. Она была непокрытой, и я впервые увидел ее волосы — черные до синевы, в двух косах. Она смотрела на меня так, будто хотела предупредить о чем-то, боялась, видно, что я брякну ей что-нибудь лишнее тут, при матери, и я сказал:

— Лошадь там в сенцах. Убитая. Пришел посмотреть...

— Господи! — запричитала мать. — Да как же она там очутилась? Ваша, что ли?

— Нет, она чужая,— сказал я.— Вечером мы ее вытащим.

В сенцах, увидав пробитую крышу и лошадь, мать сказала, что это не к добру, и заголосила. Что я мог тогда сделать для них? Мне даже подарить им было нечего...

Васюков сказал, что я отсутствовал ровно восемнадцать минут. Я сообщил ему о лошади.

— С седлом? — спросил он.

— С седлом.

— Хорошее?

— Новое. Комсоставское.

— Порядок! — сказал он. — Пригодится.

— Для кого?

— Ну, мало ли! Может, довоюемся до майоров, а тут такой случай... Они же уходят, видишь?

Конники покидали село, уходя в тыл. Некоторые шли пешком, неся уздечки и седла.

Вскоре во взвод явился связной Мишенина.

— Младший лейтенант Воронов! К капитану!— прокричал он, глядя куда-то мимо меня. Все эти связные старших были на один манер: для них мы, командиры взводов, не начальство, которое нужно приветствовать. Сволочи!

Мишенину оборудовали землянку между селом и первым взводом. Землянка получилась роскошная, с печкой и в четыре наката сухих бревен. Значит, мы не уйдем отсюда!

Капитан вызвал всех командиров взводов роты. Совещание было коротким и для меня как праздник — нам предстояло делать проволочные заграждения по эту сторону ручья.

Колья — в селе. Проволока — в четвертом взводе. Интересно, откуда она там взялась?

Я побежал в свой взвод и еще издали не прокричал, а пропел, потому что у меня все команды теперь пелись:

— Старший сержант Васюков! Ко мне!

Он, конечно, понял, что я не с плохим вернулся, и точь-в-точь, как я вчера перед Калачом, врезал передо мной каблуками и доложил:

— Помощник командира второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона старший сержант Васюков по вашему приказанию явился!

— Пьяница ты! — шепотом сказал я ему. — Самогонщик! В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ лейтенант !— тоже шепотом ответил он, и мы разом почему-то оглянулись на окоп. Тридцать обветренных, знакомых и дорогих мне лиц, тридцать пар всевидящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и преданное к этим людям пронизало тогда мое сердце, и я быстро отвернулся, потому что мог заплакать, а Васюков спросил:

— Ты чего?

— Ничего,— сказал я.— Просто ты пьяница. Самовольщик...

Пока принесли колючку — смеркалось, и мы с Васюковым отправились в село «на разведку кольев». Маринка ожидала меня во дворе. Она смущенно поздоровалась с Васюковым, а мне сказала:

— Я думала, уже не придешь...

— У нас так не бывает,— с важностью заявил Васюков.— Что сказано, то сделано. Ну-ка, показывайте, где лошак!

— Лошадь?— спросила Маринка.— Она вон там, за сараем лежит.

— Это почему там? — удивился Васюков. — А седло где?

— Казаки взяли. Которые выволакивали...

Васюков остервенело плюнул, хотел что-то сказать мне, но раздумал.

— Давай хлопочи насчет кольев, — сказал я ему. — Назначь два отделения. А я через час буду. Ладно?

Он посмотрел на свои большие кировские часы и пошел со двора. Маринка взяла меня за указательный палец и повела за угол сарая. Там, на снегу, обрывая темный, извилистый след, страшной неподвижной кучкой лежала лошадь. Я стал к ней спиной, обнял Маринку и забыл, что я на земле и на войне. Она подалась ко мне и зажмурилась, а минут через пять сказала:

— Мама спрашивала, зачем ты приходил.

— А ты что сказала?

— Колька сказал...

— Что?

— Ну, что ты ко мне...

— А она что?

— Так... Ничего.

— А все же?

— Ну... чтобы это было в первый и последний раз.

Я поцеловал ее, и она, сронив мне на плечо голову, западающим шепотом сказала:

— Ох, Сережа! Пропала, видно, я...

— Почему? — с непонятной обидой к кому-то спросил я.

— Люблю я тебя... Так люблю, что... пропала я!

— Дурочка ты! — сказал я, и почему-то никакое другое слово не было мне нужнее, роднее и ближе, чем это. — Дурочка! Тебя-то уж я не потеряю!

— А я тебя?

— Куда я денусь?

— Не де-енешься! — пропела Маринка. — Я же хорошая, красивая. Ты думаешь, я это не знаю?

— Дурочка ты...

Может, оттого что я в третий раз называл ее так и сразу же целовал, Маринке нравилось это слово...

Второй день уже я не ходил, а бегал. Васюков сказал, что отсутствовал я всего лишь пятьдесят три минуты.

— Не дотянул до часа, — не удержался он.—Хотя на войне, конечно, быстрее все делается...

— Будешь болтать — и я дотянусь как-нибудь до твоей рожи. Пьяница несчастный! — сказал я.

— Вообще-то выпить не мешало бы, — мечтательно протянул он. — И какого это черта не дают нам фронтовые сто граммов! Ты не знаешь?

— А ты не знаешь, что на закуску ста граммов полагается фронт? — спросил я.

— Так мы бы занюхали тут чем-нибудь...

Бойцы носили из села колья и бревна. Где они их там брали — было неизвестно. Мы работали всю ночь — врывали стояки для колючки, а за ручьем, по заснеженному лугу, елозили батальонные минеры. Неужели в темноте можно минировать? Что за спешка?

Отделения моего взвода попеременно отдыхали в трех крайних хатах. До сих пор я был только в одной — там, где спал сам. Я пошел туда уже перед утром. До этого я лишь один раз видел хозяина хаты — маленького и щуплого, с русой бородкой и темными, умными глазами. Он чему-то ко-

ротко и недобро засмеялся, когда увидел меня, и я не заметил у него зубов. Может, он засмеялся тогда не надо мной, а просто так. И все же он не понравился мне.

В хате спало третье отделение. Бойцы лежали на соломе, настланной толстым слоем на полу. Командир отделения Крылов стоял посредине хаты и курил. У дверей, прислонясь спиной к притолоке, сидел на корточках — как чужой тут — хозяин хаты. Он взглянул на меня и опять нехорошо как-то улыбнулся. Что за тип? Я прошел в угол и с удовольствием нырнул в солому. В хате было тепло и сумрачно — на завешенном рябой попонкой окне мерцала лампа без пузыря. Интересно, чего этот беззубый хрен оскаляется? Что во мне смешного? Сам-то на всех чертей похож! И дочь — тоже. Я столкнулся с нею вчера, выходя из хаты. У нее такой нос, будто она все время плачет втихую... Любопытно, как ее звать! Феклой, наверно! Я улыбнулся Маринке, обнял солому и стал засыпать. Откуда-то издалека в мое затихающее сознание толкнулся голос Крылова:

— Значит, говорите, отпустили?

— Пришлось выпустить... Видно, не до нас теперь тюремщикам,— шепеляво, но со сдержанно-едкой силой ответил хозяин. Крылов долго молчал, потом почти безразлично спросил:

— И документик имеете?

— А то как же! Дают, — в тон ему отозвался хозяин.

— А он у вас далеко?

— Не так, чтоб слишком...

Я уже был на краю сна и яви, когда Крылов произнес чуть слышно:

— Предъявите мне документ.

— Можно и предъявить, — со спокойной ехидцей сказал хозяин. — Вы что же, старшой тут по таким делам?

— Может, и старшой, — ответил Крылов. Видно, он решил, что я сплю.

— Ну-ну! — поощрил хозяин, и оба они замолчали — Крылов читал документ, и в хате был слышен лишь ровный, покойный храп бойцов.

— Та-ак, — сказал наконец Крылов. — А за что отбывал?

— За что сидел? — будто не расслышал хозяин. — За испуг воробьев на казенной крыше...

Я чуть не прыснул, — здорово придумал мужик, а Крылову ответ не понравился. Он сказал: «Ну, все!» и стал укладываться. Я слышал, как он сердито шуршит соломой, и слышал, как неприятно хрустят колени хозяина, проходившего в чулан...

Весь следующий день мы укрепляли свой берег ручья и снабжались боеприпасами, — мой взвод получил два ручных

пулемета, одно ПТР, несколько ящиков патронов, гранат и бутылок с бензином. Калач прибыл на наш пупок в полдень и сам выбрал место для пулеметов и ПТР — на правом фланге, так как соседей там у нас пока не было. Он опять накричал на меня, но уже не за кооперативное имущество, а за беспечность при распределении бойцов на отдых.

— Что за человек, у которого ты дислоцируешься? — спросил он.

— Маленький такой, — сказал я.

— А мне наплевать, большой он или маленький! — покраснел Калач. — Найдите другое место! Мало вам пустых изб, что ли? Залезают черт знает куда!..

Всем остальным майор остался доволен. Он спросил Мишенина, ознакомлен ли я со схемой минного поля впереди ручья, и ушел. Интересно, за что он меня не любит? А вот капитан любит, я ведь это вижу и знаю. И я люблю его тоже.

Я рассказал Васюкову о хозяине хаты и о Крылове.

— Все ясно, — сказал он. — Сознательный малый. Один на весь взвод оказался... Валенки — тоже его работа! Что ж, бдительные люди нам с тобой позарез нужны... Как ты думаешь, не закрепить ли ПТР за младшим сержантом Крыловым? Оружие это грозное, отношение к себе требует бережное. Доверим?

— Конечно, доверим, — сказал я.

В двадцать ноль-ноль я был за углом сарая, как штык. Маринка уже ждала меня, и я снова стал спиной к убитой лошади и полетел над землей.

— Давай уйдем отсюда. Нехорошо как-то тут... — сказала Маринка.

— А куда? — спросил я.

— К амбару.

— Я на один час только...

— А мы бегом.

— Ну давай, — сказал я, и мы побежали по огородам, и она держала меня за указательный палец, как маленького. Крыльцо амбара было припорошено снегом, и я стал разметать его шапкой, а Маринка наклонилась ко мне и изумленно-испуганно спросила на ухо:

— Что ты делаешь?

— Сядем, — сказал я. — Ты не бойся... Я же обещал...

Я притянул ее к себе на колени и ощутил грудью стук ее сердца — как у голубя.

— Дурочка! Что ты во всем этом понимаешь!

— В чем? — спросила она.

— В том, какая ты у меня... В нашей с тобой любви.

— Непутевая она у нас.. Если б не война!..

— Тогда бы я не встретил тебя.
— А я и без тебя встретила б!
— Кого?
— Как кого? Тебя. Ты где жил?
— В Обояни.
— Ну и приехала б!.. А там у вас одеколон делают?
— Кирпичи, — сказал я.
— Обоя-ань... Расскажи мне о себе. Все-все!

Я рассказал все-все и сам удивился тому, как это было немного. Мы жили с матерью в Медвенке. Это райцентр. Мать была там учительницей. Я закончил десятилетку, но не в Медвенке, а уже в Обояни: в 1937 году маму уволили, а меня исключили из комсомола. За что? У нас было несколько томов «Отечественной войны 1812 года», и мы с матерью знали всех генералов от Барклая де Толли до Тучкова-третьего. Ну, вот за этот интерес к русским генералам... А в Обояни я вступил в комсомол снова. Скрыл прошлое — и вступил!

— Приняли? — спросила Маринка.
— Кто? — не понял я. — Те, что исключали?
— Да нет, вообще.
— Приняли. — И я ругнулся, так, чтоб отвести душу.
— Не ругайся, — попросила Маринка.—Ты очень любишь ругаться. Прямо, как мой отец. Он тоже часто выражался...
— А где он? — спросил я.
— На фронте... Два месяца нету писем... Где это Шклов находится, не знаешь?

Я подумал о своем последнем письме маме, посланном еще из Мытищ, о крыше и выбитых окнах в Маринкиной хате, о погребе и Кольке, и что-то обидное шевельнулось во мне к самому себе. Почему-то мне вспомнилось, что самым ненавистным словом у мамы было «проходимец». Хуже такого определения человека она не знала.

— Ты чего замолчал? — спросила Маринка.
— Думал, — сказал я.
— О чем?
— О себе... И о тебе тоже... Знаешь, у нас все с тобой должно быть хорошо и правильно!.. Давай поженимся...

То, что я сказал — поженимся, — отозвалось во мне каким-то протяжным, изнуряюще благостным звоном, и я повторил это слово, прислушиваясь к его звучанию и впервые постигая его пугающе громадный, сокровенный смысл. Наверно, Маринка также ощутила это, потому что вдруг прижалась ко мне и притаилась.

— Поженимся! — опять сказал я.
— Что ты выдумываешь, — произнесла наконец Маринка. — Где же мы... Война же кругом!

— Черт с нею!— сказал я. — Мы поженимся так пока, понимаешь? А после войны только будем как настоящие муж и жена. Хорошо?
— Что ты выду-умываешь!..
— Завтра поженимся, в день моего рождения...
— Господи! Что ты говоришь?— воскликнула Маринка, и в эту минуту она была очень похожа на свою мать, когда та увидела лошадь в сенцах и сказала: «Господи».— У меня же тоже двадцать второго ноября день рождения! Ты вправду?
— Ну да. Двадцать один стукнет. Ты думаешь, я молоденький?
— Не-ет, я и не думала... А мне тоже восемнадцать стукнет. А ты думал, сколько?
— Пятьдесят шесть,— сказал я.
— Что ты! Маме и то сорок пять только!..
— Дурочка ты!..

Возвращался я бегом, и подмерзший снег не скрипел, а пел у меня под ногами, и мысленно я пел сам, и со мной пела вся та ночь — чутко-тревожная, огромная, заселенная звездами, войной и моей любовью. Я хорошо понимал, что моя радость «незаконна»,— немцы ведь подходили к Москве, но все равно я не справлялся с желанием поделить свое счастье поровну со всеми людьми.

В окопе с дежурным отделением был Васюков.

— Как дела? — спросил я его.
— Все в порядке,— ответил он.— А у тебя?

Мы сошли с ним к проволочному заграждению, широкой кривулиной уходившему в лунно-дымную даль центра обороны. На кольях и на колючей основе проволоки мерцали блестки легкого инея, и все это безобразное нагромождение казалось теперь осмысленно безобидным, нарядным, кружевным.

— Послушай, Коля... Понимаешь, я женюсь! Завтра женюсь,— бессвязно и благодарно сказал я Васюкову. Он посмотрел на меня, отступил в сторону и спросил, давясь хохотом:
— Только жениться? А иначе, значит, никак? Молодец девка!..

Я ударил его дважды, и в окоп мы вернулись порознь.

Никто из нас по-настоящему не нюхал еще войны. Пока что мы ощущали ее морально и только немножко физически, когда рыли окопы. Мы не встречали ни убитых, ни раненых своих, не видели ни живого, ни мертвого немца. Мы видели лишь — да и то со стороны — вражеские самолеты. Они всегда пролетали большими журавлиными стаями, и рев их надолго заполнял небо и землю. Я никогда не слыхал, чтобы в этот

момент кто-нибудь произнес хоть слово. Тогда бойцы почему-то избегали смотреть друг на друга, торопились закурить, и лицо у каждого было таким, будто он только что получил известие о несчастье в доме. Зато надо было слышать тот по-русски щедрый приветственно напутственный и ласковый мат по адресу своего самолета, когда он появлялся в небе! Заслушаешься и ни за что не утерпишь, чтобы не прибавить чего-нибудь и от себя...

Утро дня моего рождения выдалось крепким, ясным и звонким. Взвод занимался гречневой кашей с салом, когда над нами появился странный самолет с прямоугольным просветом в фюзеляже. Такого я еще не видел. Небо было бирюзово-розовым, и самолет казался на нем, как грязная брызга. Он повис над нашим окопом, и мы отчетливо видели белые кресты на его крыльях и слышали натужно вибрирующий гул моторов.

— Разведчик ихний, — не глядя на меня, сказал Васюков.— Разрешите мне из ПТР... Может, ссажу!

Я сказал: «Действуйте» — мы были теперь на «вы», — и он бросился к Крылову за ружьем, но долго не мог прицелиться — самолет кружил прямо над нами, а длина ПТР достигала двух метров, и его не на что было приладить.

— Кладите ствол на меня! — приказал я и уперся руками в стенку окопа. Васюков так и сделал. Ствол ружья плотно прилегал к моему левому уху, и я на всякий случай зажмурился и раскрыл рот. Выстрел я ощутил спиной и головой, наверно, так чувствуешь себя после удара колом.

— Ну, что? — крикнул я.

— Не берет сразу, — отозвался Васюков. — Станьте-ка повыше...

Я стал, а он, повозясь и покряхтев сзади меня, снова ударил.

— Ну? — крикнул я.

— Не берет, гад! Станьте пониже...

— Стань сам, раз не умеешь стрелять! — сказал я, но сразу мне не удалось освободиться от ружья, — Васюков, видать, налег на приклад, заорав что-то несуразное:

— Ага-а, располупереэтак твою...

Взвод тоже орал. Я не сразу поймал глазами самолет и закричал вместе со всеми: он кривобоко тянул на запад, пачкая небо серым, бугристым следом дыма. По нему бил теперь весь батальон, и я не знал, как же мне доказать Калачу, что разведчика подбил мой взвод? Он может и не поверить...

Я выстроил взвод позади окопа и скомандовал:

— Старший сержант Васюков! Три шага вперед!

Он вышел строевым шагом и стал «смирно».

— За проявленное мужество и находчивость при уничтожении вражеского самолета старшему сержанту Васюкову от лица службы объявляю благодарность!

И тогда с Васюковым что-то случилось. Он насупился, покраснел и ответил чуть слышно:

— Служу... служу Советскому Союзу...

С ума сошел! Разве можно отвечать таким тоном, да еще перед строем! Я повторил благодарность, а Васюков взглянул на меня плачущими глазами, махнул рукой и пошел в строй, как больной.

Очумел мужик! Я распустил строй и кивнул Васюкову, чтобы он остался на месте. Он и в самом деле плакал. Не по-настоящему, а так, одними глазами.

— Ты чего? Обиделся за вчерашнее? — спросил я. — Нашел тоже время... сводить личные счеты!

— Да нет, — сказал он и высморкался в полу шинели. — Это я так... Подперло что-то под дыхало... Сам посуди: летают, как дома... Почти половину России захватили, а мы...

— Да ты же подбил его, чудак! — сказал я.

— Конечно, подбил. А где? Под самой Москвой? А, как будто ты сам не понимаешь!.. Выпить бы сейчас, а!

— Ты... извини, пожалуйста, за вчерашнее,— попросил я.— Ладно?

— Ладно, за тобой останется... На свадьбу только позови, — полушутя, полусерьезно сказал он.

Я напрасно беспокоился: самолет был учтен за нашим взводом. Капитан Мишенин вынес нам с Васюковым благодарность. Мне вроде бы не за что, но старшим возражать не положено.

А день выдался как по нашему с Маринкой заказу. Впервые хорошо и глубоко проглядывалось поле впереди ручья. Оно поднималось на изволок, и почти на горизонте виднелись сквозные верхушки деревьев и пегие крыши построек. Справа, где у нас не было соседей, голубел лес. Он тянулся по пригорку и чуть ли не вплотную подступал к тому, еле видимому, селению. Временами оттуда прикатывались к нам невнятные орудийные выстрелы и широкие, осыпающиеся гулы. У нас это никого не тревожило — даже синиц. Они густой стайкой сидели на проволочном заграждении — и хоть бы что.

Я все время был в окопе. Васюков давно ушел на батальонную кухню. Оттуда он должен был зайти в знакомую хату насчет выпивки. Для этого я дал ему пару своего запасного фланелевого белья. Вернулся он немного выпивши, — не утерпел человек.

— Полный порядок! — доложил. — Есть кусок сала и

полная писанка... А на кухне достал пару банок трески в масле. Хватит, я думаю. Хлеб-то там найдется?

— Не знаю, — сказал я.

— Как же так? Зять, а положение тещи не знает! Ты хоть видел ее?

— Один раз.

— И как она к тебе?

— Так себе...

— Не понравился, выходит?

— Война. Сам понимаешь...

— То-то и оно! И не крути-ка, ты, командир, девке голову. Слышишь? Она же своя. Русская... И честная, видать...

— Старший сержант Васюков! Кто тебе помог подбить самолет и первый вынес благодарность? — спросил я.

— Ну, ты.

— Не «ну, ты», а младший лейтенант Воронов! И я запрещаю тебе обсуждать его действия, потому что он малый хороший, а не какой-нибудь там пьяница, как некоторые.

— Ясно. А выпить хорошему малому не хочется?

— Хочется. Но надо подождать до вечера.

— Тогда отнеси все туда. А то у меня такой подстрой, что могу не вытерпеть. Самолет все-таки подбил я.

Мы сошли к ручью, и там в кустах краснотала я забрал у Васюкова писанку, консервы и сало. «Приду,— думал я,— положу все на стол и скажу: вот, бойцы, командиры и политработники нашей части прислали подарок... на день рождения вашей дочери... Нет, это глупо. Скажу что-нибудь другое...»

На дворе я увидел Кольку, и он еще издали сказал:

— Хочешь поглядеть, сколько у нас крови?

— Где? — испугался я.

— В сарае. Маринка петуха зарезала. Варится уже...

У меня больно и радостно ворохнулось то знакомое чувство благодарности и преданности к Маринке, которое я испытывал тогда в амбаре, когда подарил ей сахар, и я схватил Кольку и поднял на руки. У него соскользнули на снег валенки — велики были, и когда я присел обертывать его ноги ситцевыми ветошками, на крыльцо вышла мать.

— Ну чего ты залез к чужому человеку? Маленький, что ли! — крикнула она Кольке.

— Я не залез, это он сам, — ответил Колька. Я поздоровался с матерью по команде «смирно». Она велела Кольке идти в хату и скрылась в сенцах.

— Позвать Маринку? — сочувственно посмотрел на меня Колька.

— А мать не заругается? — спросил я.

— Что ты! Она уже ругалась. За петуха...

Маринка выбежала в одном платье. Я снова будто впервые увидел ее — невообразимую, с громадными черными косами, с свадьбой в глазах. Я взглянул на них, как на солнце, и сказал:

— Принес вот кой-чего...

Я начал доставать из карманов сало и консервы, а Маринка оглянулась на хату и схватила меня за руки.

— Не надо сейчас, спрячь скорей! Лучше вечером... И не говори ничего маме... Потом я скажу ей про все сама...

— Я очень не нравлюсь ей? — спросил я.

— Она же не зна-ает, какой ты...

Первый раз в своей жизни я поцеловал тогда руку девушке. Маринка ахнула, вырвала руку (она пахла палеными перьями) и почти гневно сказала:

— Ну зачем ты так? Что я тебе, чужая?!

Этот день и угас ярко, — солнце закатывалось чистым, малиновым, и оснеженное поле за ручьем тоже было малиновым, жарко сверкающим. На нем, прямо перед нашим окопом, калга́тилась большая стая ворон и галок. Васюков сказал, что это они к морозу рассаживаются на ночь на земле.

— Они всегда это чувствуют, — сказал он.—А вообще ворона ни к черту птица. Несчастье вещует, яички соловьиные пьет...

Он оглядел горизонт, потом долго прислушивался, обратив на запад левое ухо, хотя там ничего не было слышно, кроме заглушенного пространством, еле различимого моторного гула.

— Ну, что ты слушаешь? Там фронт, — сказал я.

— Думаешь, фронт? — странно спросил Васюков.

— А что же?

— Черт его знает. Может, просто немцы одни...

— Не распространяй в тылу панику, — сказал я. — Лучше обернись назад.

За селом и над ним проникновенно-обещающе зеленело небо, и на нем уже высеивались желтые просинки звезд. Оттуда, с северо-востока, тянуло подвальным холодом, и редкие, белесые дымки, выползавшие из труб сумеречных хат, манили к уюту, огню и разговору шепотом.

Васюков оглядел все это — небо, село, витые столбики дымов — и, повернувшись ко мне, сказал:

— Слушай, Сергей. Ты давай справляйся без меня. Ладно? Я, понимаешь, не могу так... обманывать девку на глазах у матери!..

Что можно было ему ответить?

Хату освещала знакомая мне по амбару «летучая мышь». Из окон выпячивались разноцветные узлы-затычки. Стол был подвинут к печке и застлан чем-то новым, большим и белым, простыней, наверно. Около него сидел и томился Колька, одетый в свежую рубаху. Мать стояла в проходе чулана с полотенцем в руках. В ситцевом белом платьишке Маринка шла ко мне от окна, напряженно глядя перед собой и закинув назад голову. Все это в единый миг я вобрал в себя глазами и сердцем, стоя у дверей навытяжку. Я по-военному, чересчур громко поздоровался, и мать не ответила, а Колька засмеялся. Маринка сказала: «Здравствуйте» и попросила проходить вперед. Я шагнул к столу, положил на него консервы, сало и писанку и сказал матери:

— Извините... тут вот наши бойцы прислали вам... на день рождения.

Она усмехнулась, взглянула искоса на Маринку и сказала:

— Что ж, спасибо им... Садитесь, гостем будете.

— Раздевайтесь, пожалуйста, — предложила Маринка.

— Холодно же у нас, — сказала мать.

Но я снял шинель, и когда вешал ее у дверей, то чувствовал, как люто горит мой затылок, — наверно, от него можно было прикурить. Я долго возился с шинелью, придумывая, что бы такое еще сказать матери, когда обернусь, и вдруг вспомнил — никому не нужное тут, — и пошел к ней мимо испугавшейся Маринки.

— Извините, — сказал я, — вы случайно не знаете, за что сидел хозяин четвертой хаты с краю... Маленький такой?

Я спросил с таким видом, будто именно это и привело меня сюда, и мать посмотрела сперва на меня, потом на Кольку.

— Маленький? Не знаю,— оробев, ответила она.

— Это, наверно, Устиночкин Емельян, — обрадованно сказала Маринка. — Он недавно только вернулся.

— У него еще дочь некрасивая такая... Вроде она плачет все время, — напомнил я.

— Это Мотька, — засмеялась Маринка.—А отец ее сидел за северный полюс... Помните, когда папанинцев спасали? Ну вот, тогда у нас проходило общее собрание. Уполномоченный из Волоколамска проводил. Насчет героизма. И другие про героизм да про героизм... А Емельян на взводе был... Встал да и болтнул: пусть бы в нашем колхозе перезимовали. И все. А на третий день его забрали...

Я мысленно увидел Емельяна на собрании, — он, конечно, сидел с цигаркой возле дверей, маленький, в большой заячьей шапке, — вспомнил его ответ Крылову, когда тот спрашивал, за что он «отбывал», и захохотал. Глядя на меня, заливался Колька, смеялась Маринка, улыбалась, хоть и невесело, мать, и когда я кое-как спросил, в какой шапке был на собрании Емельян, и Маринка ответила: «В заячьей», я уже не мог стоять и повалился на скамейку...

Так злополучный Емельян и этот мой нечаянный бездумный смех помогли мне в тот вечер: у Маринкиной матери оттаяли глаза; она взглянула на меня уже без прежней настороженной отчужденности.

— Родители-то хоть есть у вас? — спросила она.

Минут через пять мы сидели за столом. На нем стояли миска с огурцами и тарелка с петушатиной. Нам с Колькой мать положила ножки. Я откупорил писанку и наполнил три стакана изжелта-сизым самогоном. Мы с Маринкой взглянули друг на друга и разом встали.

— Давайте, — начал я не своим голосом, — выпьем за...

Я не знал, что нужно сказать дальше, и взглянул на Маринку. Она неуловимо повела головой — «Не говори!», — и в это время мать сказала:

— За то, чтобы все живы остались...

У нее навернулись слезы, и к самогону она не притронулась, а мы с Маринкой выпили свой до капли. Мать удивленно посмотрела на Маринку и спросила почему-то не ее, а меня:

— С ума она сошла, что ли? Сроду не пила, а тут целый стакан выдуганила!

Я почувствовал, как хорошо, ладно и нужно улегся в мою душу этот обращенный ко мне вопрос, и, подстегнутый радостью сближения со всеми и всем тут, сказал:

— Больше она у меня не получит!

В мой сапог под столом трижды и мягко торкнулся Маринкин валенок — «Молчи, молчи, молчи», но мне уже не хотелось молчать. Я оглядел затычки в окнах и сказал:

— Завтра вставлю стекла. Найду где-нибудь и вставлю...

Мать ничего не ответила и вдруг прикрикнула на Кольку, чтобы он не таращился. Маринка резко толкнула мою ногу, и я запоздало понял, что о стеклах сболтнул зря.

— Мам, а он тоже Воронов, — сказала Маринка.

— Теперь, дочка, все вороны... все с крыльями. Нынче тут, а завтра нету!— назидательно ответила мать и поднялась из-за стола. Я тоже встал, завинтил пробку на писанке и пошел за шинелью. «И пусть. Подумаешь! И не надо! И нечего меня провожать», — думал я, неведомо за что разозлясь на Маринку и прислушиваясь к ее шагам, шуршащим по полу хаты.

Я оделся и, когда обернулся для прощания, то лицом к лицу увидел Маринку в телогрейке и шали.

— Чтоб недолго! — приказала ей мать.

Во дворе Маринка приблизила ко мне свое лицо, и я уви-

дел, что она готова заплакать. Я поцеловал ее в глаза, и она всхлипнула и спросила растерянно, обиженно:

— Мы уже поженились? Больше ничего?

Я взял ее за руку, и мы побежали «к себе», к амбару. Мы бежали молча, и под шинелью у меня звонко булькала писанка, и с каждым шагом больно разрасталось мое сердце, набухая ожиданием чего-то неведомо, неотвратимо зовущего и почти страшного.

На промерзло-гулком крыльце амбара мы зашли в сумеречный угол, и я загородил собой Маринку от ветра и взял в ладони ее лицо. Оно было горячее и мокрое.

— Ну чего ты плачешь? Дурочка, ворониха моя...

— Я же... У меня же ключи от амбара, — напевно сказала Маринка и заревела по-детски, в голос. Я опустился на корточки, обнял ее круглые, испуганно вздрагивающие колени и стал утешать и придумывать для нее слова и названия, не существовавшие в мире. И когда слова иссякли и голос мой стал чужим, толстым и хриплым, я поднял Маринку на руки и понес домой. Я часто спотыкался на огородных грядках, и каждый раз затихшая Маринка поднималась и становилась так, чтобы мне удобнее было снова взять ее на руки...

Во дворе мы молча и трудно расстались, и я побежал к себе в окоп. Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остылый, и там, где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели и падуче рассыпались две большие мертвенно-зеленых звезды.

В окопе дежурили два отделения. Не глянув на меня, Васюков сказал отрывисто, зло:

— Видал ракеты? Это не наши.

Минут пять спустя я получил приказание капитана Мишенина привести взвод в боевую готовность...

Вороны так и просидели всю ночь в поле. Они начали колготиться, когда уже совсем развиднелось, но с места не снимались, и Васюков сонно и брезгливо сказал:

— Шарахнуть бы по ним залпом, что ли!

Я не успел ответить ему: воронья стая взгаркнула и разом взмыла двумя косяками, будто расчлененная ударом кнута, и через наш окоп с гнетущим воем перелетела мина. Она взорвалась недалеко от Емельяновой хаты. Мы все пригнулись и тут же выпрямились, но в поле за ручьем возникли тонкие жала новых запевов, с каждым мигом нарастающих, проникавших в душу мятным холодком страха. Мины взрывались где-то в глубине дворов, но мы кланялись полету каждой. Я стоял в окопе спиной на запад, — для меня все мины попадали в Маринкину хату, — и бойцы тоже обернулись лицом к селу. Только Васюков все время смотрел в сторону немцев. Не оборачиваясь, он сказал мне ворчливо, тоном старшего:

— Ну чего ты переживаешь? Она давно сидит в погребе... И вообще мина пробивает только крышу, а потолок не берет, ясно?

Я обернулся к западу, и то же самое взвод проделал, как по команде. По склону поля слепяще сиял снег, — солнце взошло по-вчерашнему, и мы опять отчетливо увидели вдали фиолетовые верхушки деревьев и приплюснутые крыши построек.

— Оттуда бьют, — раздумчиво сказал Васюков. — Что, если из ПТР садануть по ним, а? Тут, пожалуй, не больше трех километров.

Он, конечно, и сам понимал, что противотанковое ружье — не гаубица, но мы же были пехота!

— Давай садани, — сказал я, и, когда он с Крыловым устанавливал ружье на бруствере окопа, оно, после вчерашнего случая с самолетом, показалось мне грознее и таинственнее, чем было на самом деле. При выстреле приклад резко отталкивал Васюкова, и он каждый раз произносил одно и то же ругательство, а бойцы натужно крякали, не то разделяя с ним толчок, не то прибавляя этим вес крохотному снарядику ПТР. После пятого раза я махнул Васюкову рукой — хватит! Он опростал ружье от дымящейся гильзы и плюнул через бруствер, а я подумал, что гильзы нужно потом незаметно собрать и подарить Кольке.

Минный налет длился минут тридцать, затем был часовой перерыв, а потом опять обстрел, и снова затишье. Ни одна мина не взорвалась вблизи наших окопов, — падали в селе, и Васюков дважды еще разъяснял мне, что они не пробивают потолок хаты.

В полдень — в момент затишья — на наш пунок прибыл майор Калач, начальник штаба батальона старший лейтенант Лапин и капитан Мишенин. Я встретил их шагах в пяти от окопа рапортом о том, что во втором взводе третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона никаких происшествий нет. Калач и Лапин слушали меня «вольно», а капитан Мишенин «смирно», держа правую ладонь у каски. Он поздоровался со мной за руку, глядя на меня так, будто хотел сообщить что-то по секрету, но в это время Калач сказал:

— Младший лейтенант! Слушайте меня внимательно. Сейчас вы отправитесь в разведку боем. Ваша задача — выявить в населенном пункте Немирово силы врага, разведать и зафиксировать его огневые средства и точки... Подробную инструкцию получите у начальника штаба. Ясно?

— Так точно, товарищ майор! — ответил я и спросил: — Один пойду?

— То есть как это один? — сердито сказал Калач. — Пойдете с двумя отделениями!

— Может быть, вызвать добровольцев, как мы и думали? — вкрадчиво спросил Калача Лапин. Майор кивнул, и Лапин красиво поставленным голосом проиграл: — Внимание! Товарищи бойцы! Кто хочет добровольно пойти в разведку боем? Нужно пятнадцать человек!..

Из окопа выпрыгнул Васюков, и в наступившей тишине было слышно, как у него под шинелью звонко булькнула писанка. Он оторопело взглянул на меня, затем на Калача, и тот сразу же приказал:

— Старший сержант, останетесь здесь за командира взвода!

Васюков козырнул, четко повернулся, и невидимая на нем писанка опять вкусно булькнула, а я отвернулся, чтобы спрятать лицо.

— Есть добровольцы? — снова пропел Лапин. Я посмотрел вдоль окопа. Бойцы занято суетились, переступая с ноги на ногу, и каждый поправлял на себе что-нибудь: ремень, противогаз или патронташ, и у каждого был сосредоточенно-напряженный вид — вот-вот человек выпрыгнет из окопа, как только приведет на себе в порядок «вот эту штуковину». Но «штуковина» почему-то не поддавалась усилию рук, — видно, с ними боролось за что-то сердце, — тогда Калач спросил:

— Комсомольцы есть?

Первым из окопа выкатился Васюков, — на этот раз майор не остановил его, — за ним готовно, разом, вышли еще двенадцать человек. Они встали рядом со мной лицом на запад, и мы все увидели Крылова. Он расслабленно вылезал из окопа, волоча ПТР, и лицо его было белым как снег. Белыми, косящими к переносице глазами он смотрел куда-то сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное. Глядя на него, я ощутил, как мгновенно отмерзли у меня пальцы ног, а в груди стало пусто и горько. Я хотел посмотреть на своих добровольцев, но не мог отвести глаз от Крылова, — я как будто видел в нем все то, зачем мы должны идти сейчас туда, на запад... Он уже подходил к нам, когда я услыхал голос Калача:

— Товарищ Крылов! Оставайтесь с ПТР на месте!

Крылов округло повернулся и зигзагами пошел к окопу, обняв ПТР...

После инструктажа нам принесли обед, но есть не хотелось. Мы сдали парторгу роты комсомольские билеты и все «личные вещи». Каждый взял десять обойм патронов к своей винтовке, четыре противопехотных и две противотанковых

гранаты. Еще нам придавался ручной пулемет. Нес его Васюков. От окопа к ручью нас провожал капитан Мишенин. Он шел рядом со мной, но смотрел куда-то вбок. Через ручей мы перешли по бревну.

— Ну, все, — негромко, хрипло сказал капитан, остановившись на берегу. — Не забыли, где минный проход? Ну, все!..

Мы пошли гуськом — впереди я, замыкающим Васюков. Справа от нас по снегу двигались наши голубые тени, и то, что они были тесно-дружные, большие, свои — действовало ободряюще, как что-то живое и нам подспорное. Минное поле кончилось в конце луга, и там, на уклоне поля, мы перестроились в развернутую цепочку. Главным своим флангом я считал левый, потому что начинался он с меня, и я укрепил его Васюковым.

— Как будем действовать, короткими перебежками или...

Он не докончил вопрос, — высоко над нами завизжали мины. Мы пригнулись все — это ведь получалось невольно, — и вот тогда я услыхал Маринкин голос. Он вонзился мне в темя, как нож, и я оглянулся и в слитно мелькнувшей передо мной панораме села увидел на пригорке взрыв и в нем летящую Маринку... Я сразу же зажмурился, отвернулся и побежал вперед на запад, и со мной рассредоточенной, наступающей цепью побежали все тринадцать человек. У меня не было ни одной стройной, отчетливой мысли, кроме желания не оглядываться, и я тупо ощущал свое тело и не мог задержать бег, — ноги работали самостоятельно. Только потом я понял, почему тогда не оглянулся: в недрах души я не верил тому, что увидел. Мало ли как может еще быть, если ты не знаешь всего до конца!.. Мы бежали долго, и, когда пошли шагом, Васюков тронул меня за локоть:

— Может, глотнешь, а?

Он совал мне писанку, а сам оглядывался назад, и я спросил:

— Ну? Что там?.. Ну, говори!

— Да там... ничего уже не видно...

— Унесли?

Ему надо было — я хотел этого — прикрикнуть на меня: «Что унесли?», или «Кого унесли?», или объяснить, что немецкие мины безвредны, но он ответил:

— Да там... все уже. Ты бы глотнул, а?

Я скомандовал бегом, и мы бежали до тех пор, пока из-за белого гребня поля не показались верхушки деревьев.

Деревья вырастали с каждым нашим шагом, и в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее и незнако-

мое мне чувство, сдвигая и руша все то, что там шлаком спеклось и застыло, как уже прожитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что! Я ведь втайне «поспел» для нее в ту самую минуту, когда услыхал Маринкин голос и увидел ее парящей в сизом куске взрыва. Тут было что-то другое, более значительное и важное — и не только мое, личное. Когда показались крыши построек, я взглянул на свой «фронт», и увидел всех бойцов сразу и каждого в отдельности: каждый шел, чуть наклонясь вперед, выставив винтовку и завороженно глядя в какую-то точку перед собой.

Немирово открылось неожиданно,— мы вышли на самый гребень поля, и сразу же над нами прекратился шелест пролетающих мин. Наступила какая-то неверная тишина,— даже снег не скрипел под ногами: мы все замедляли и замедляли шаги, и я заметил, что сам иду как по бревну через ручей, ставя ногу на носок. Наша цепочка сузилась—мы сошлись поплотнее и двигались в створе широкого каменного здания, обращенного к нам глухой стеной. Вдоль нее суетились, готовясь к чему-то, маленькие, серые люди.

— Ну, как будем? Перебежками или так?— не спросил, а прокричал Васюков. И тогда я оглянулся назад. Я искал не Маринку. Я хотел только знать, видят ли нас свои, не идут ли они следом,— нельзя же нам больше оставаться тут одним!.. Но я увидел лишь свои следы на снегу—четырнадцать длинных и прямых пунктирных линий. Две из них — левофланговые — почти соприкасались и кое-где перебивались: это мы так шли с Васюковым.

— Как будем, говорю? — снова прокричал он мне в ухо. Чудак, разве я знал, как нам быть! Вот если б я увидел кого-нибудь позади себя или шел сюда не в первый, а во второй раз... Если бы до Немирово оставалось немного подальше... Если бы это было ночью, а не днем... Если бы они хоть начали скорей стрелять!..

— Бег-гом!— скомандовал я, и мы побежали, но не споро, почти на месте, и каждый высоко подбрасывал ноги и ставил их крепко и сильно, зарывая в снег, и я знал, для чего это делалось — чтобы быть пониже.

Мы бежали, а немцы не стреляли. Они накапливались вдоль стены каменного здания, возле деревьев и в поле. Их было много. Они размахивали руками, смеялись и что-то кричали нам. Я различал уже лица, не виданные до того автоматы, широкие раструбы чужестранных сапог. Я хорошо видел трех офицеров, стоящих впереди остальных: они рассматривали нас в бинокли. Я бежал и коротко взглядывал раз влево, раз вправо — на своих, раз вперед — на немцев. У моего левого локтя топотал и булькал писанкой Васюков. Пулемет

он нес, как кол. Справа с запасными дисками к РПД утиной перевалкой бежал красноармеец Перемот, уралец-старовер с маленькими, черными глазами ворожуна. Еще в Мытищах Крылов доложил мне, что Перемот верующий, — крестик носит латунный. Я сказал тогда, что приму к нему меры, но так и не принял...

Немцы не стреляли и не кричали, упокоив руки на автоматах. Может, по моей команде, а может, и без нее мы изменили тогда направление, забрав правее каменного здания, туда, где немцев было поменьше. Мы бежали молча, тесной кучей, и эта живая, с в о я теснота была единственной нашей защитой и поддержкой.

— Сереж! Не надо дальше... Перебьют же! Хватит! Я и так все вижу... Все дочиста! Сереж!..

Это кричал мне Перемот, занося поперед моих ног пулеметные диски и заглядывая мне в лицо не черными, а белесо-льдистыми глазами. Эти чужие у него глаза, диски у меня под ногами, заклинающий шепотный крик, произнесенное имя мое, а не чин; эта наша братская сутолочь и предказневая тишина у немцев заставили меня скомандовать: «Ложись». Мы рухнули, как бежали — кучей. Перемот протянул руку в сторону Немирово и бредово заговорил:

— Вот тут, за сараем, ихние минометы... Восемь штук. Четыре, значит, больших и четыре маленьких...

— Полковые и батальонные, — раскосо глядя мне в лоб, сказал Васюков.

— Во-во! — подхватил Перемот. — А вон там, под ракитами, танки... Кажись, девять.

— Семь, — торопливо сказал Васюков.

— Пушек вроде не видно, — самозабвенно, на одной ноте твердил Перемот, — стало быть, это пехота. Числом тыщи полторы, а может, чуть побольше...

— Полк, — сказал я Васюкову, и он кивнул. Это заняло у нас не больше тридцати секунд времени, — мы разговаривали на крике, и у нас было полное взаимодоверие. Я уже знал, как нам быть и что делать. Мы сейчас рванемся назад, но не так, как бежали сюда, а по-другому — как убегают от смерти двадцатилетние, а пока немцы одумаются и поймут, зачем мы сюда приходили, мы достигнем гребня поля. Там мы откроем по ним огонь. Они тоже начнут тогда стрелять, и у них будет убито человек девять, а у нас никого!.. Нет, у нас должны быть раненые, но совсем легко и не много — трое. Больше я не хотел для капитана Мишенина, а меньше для майора Калача, — иначе он ничему не поверит...

Мы с Васюковым поднялись одновременно, и я приказал отход, но в это время немцы загалдели и двинулись к нам

толпой, будто шли поглазеть на что-то диковинное и несуразное. Трудно сказать, кто первый лег снова лицом к ним — я или Васюков, но думаю, что он, потому что я не услыхал своих пистолетных выстрелов: их заглушил васюковский пулемет. Я стрелял не целясь, так как мне приходилось то и дело оглядываться и кричать своим, чтобы они скорей уходили. Последняя моя команда совпала с разрывом небольшой мины метрах в пяти позади нас с Васюковым. Я увидел приземистый, буро-огненный кустик разрыва, заслонивший убегавшего Перемота. И тут же я увидел над собой рот Васюкова, раскрытый в беззвучном крике...

Я лежал на левом боку. Зрячим у меня был только левый глаз, — на правый сбилась шапка, и левым глазом изпод низу я видел солому и опрокинутые веялки. Они не могли оказаться возле меня даром, и я не мог зазря очутиться тут с ними, и о том, как это произошло, лучше было не думать. Я помнил все — от парящей Маринки до убегающего Перемота, а дальше мне ни о чем не хотелось вспоминать. Я лежал и боялся узнать, отчего мне трудно дышать и чем забит мой рот. Я попытался сплюнуть, но что-то застряло в гортани, и тогда я потянулся рукой ко рту и вытащил темно-розовый длинный шматок. Я зажмурился и второй рукой сунулся в рот. Язык был цел. После этого я откинул от себя то, что достал изо рта, и оно шлепнулось на солому где-то рядом. Я подождал и ощупал петлицы. Кубари были на месте. Оба. Только я перевалился на спину и мне открылось и явилось все сразу — боль в спине и где-то внутри, отсутствие ремня и пистолета, пологие заиндевелые стропила, опирающиеся на плотные каменные стены, мысль, что я в плену и лежу в немировском сарае...

Прямо надо мной в крыше сарая светились пять продолговатых, узких щелей. Края серой дранки в этих местах были желтые, свежие. Это, наверно, Васюков просадил тогда из противотанкового ружья. Высоко брал!.. Я заплакал, и ртом пошла кровь. В щели осыпалась снежная пыль. Я раскрыл рот, высунул язык, и кровь прекратилась. А Васюков все же высоко брал. Надо б ниже...

Мне нельзя было ни о чем думать, — тогда начинала идти кровь, но щели все время были перед глазами, и Васюков с Маринкой тоже, и капитан Мишенин, и мой взвод, и Колька, и я сам...

Под вечер я увидел Васюкова. Он сидел у меня в ногах, спиной ко мне, и раскачивался взад и вперед, будто молился. Я лежал и не шевелился: даже если это и не на самом деле Васюков — все равно пусть сидит. Потом, может, увижу еще кого-нибудь...

А Васюков все раскачивался и раскачивался. Я бы мог тронуть его носком сапога — рядом сидит. У него на шинели не было почему-то хлястика, и горб смешно топорщился и ломался. Интересно, пропадет Васюков, если взглянуть на щели в крыше сарая? Я посмотрел на них, — они посинели и померкли, — перевел взгляд и опять увидел Васюкова. Как и до этого. Он сидел и что-то грыз. Раскачивался и хряпал.

— Коль, — позвал я. Васюков дернулся и оглянулся, и я увидел в его руке бурак. Он выронил его в солому и на коленях полез ко мне. На его шапке не было звездочки, а в петлицах треугольников. Нос у него был большой, не его, и сидел на боку. Васюков! Живой! Васюков... Он примостился слева от меня и молча поправил на мне шапку.

— Всех? — спросил я.

— Лежи, — сказал Васюков.— Кроме нас да Перемота — никого. Сволочи, бросили...

— А где Перемот?

— Остался там. Да он и не пикнул.

Я подумал, что вышло так, как я хотел: троих. Троих вполне хватит для майора Калача. А куда же попало Васюкову? По носу только? Нос у него совсем сидел на боку, а серый пух вздыбился на щеках и даже завился колечками. Отрос за время разведки боем, что ли?

— Куда тебе попало? — спросил я. Васюков полуотвернулся от меня и назвал место, какого у него не было. Он сидел и раскачивался взад и вперед. Я положил свою руку на его колено и спросил:

— Меня в спину?

— Наискось... А под мышкой выскочил.

— Осколок?

— А то хрен, что ли!

— Большой?

— Фатает!— сказал Васюков и выругался в прахриста. — Ну что будем делать, а? Если б ты мог бечь! Кура пошла, фрицы все по хатам сидят...

— Давай сматывайся один, — сказал я. — Мне все равно хана.

Васюков наклонился ко мне и проговорил в глаз:

— Да там и рана-то с гулькин нос. Дня через три присохнет, и все!

Это Васюков врал. Зачем же он говорил об осколке, что его хватает? Для чего хватает? А запекшаяся кровь, которую я вытащил изо рта? Про рану он врал, но это было то, что я

всем телом хотел от него услышать. Конечно ж она с гулькин нос и через три дня присохнет. Присохнет, и все!..

...От края и до края земля засеяна красным маком. Махровые цветы растрепаны и повернуты головками в одну сторону — к маленькому багровому солнцу, встающему над горизонтом. Стебли мака не стоят на месте. Они несутся к солнечной точке, в беге сливаются в сплошной поток чего-то густого и липкого, которое вот-вот смоет с ног, и тогда я закрывал глаза. Красный поток застывал, медленно превращался в маковый засев, но стебли опять бежали, и я знал, что теперь надо открыть веки. Так продолжалось, пока я снова не увидел Васюкова. Он наплыл на меня лохматым пятном, спросил: «Может, пить охота?» и пропал в темноте сарая за веялками. Через некоторое время он вернулся и дал мне большой, серый комок снега. Снег вонял махорочным дымом и ружейным маслом, и в нем то и дело попадались остья ржаных колосьев. Как только я съел его, Васюков сказал:

— Главное — ночь протянуть. Если теперь очухаешься, значит — все! Ты не рассолаживайся.

Я не рассолаживался. Я не чувствовал никакой боли и только мерз. Васюков захватил беремя соломы, навалил ее на меня и сам подлез ко мне с правого бока. Он отыскал мою руку и притих — пульс щупал. Я понимал, что он только Васюков, старший сержант и больше ничего, но под шапкой у меня начали выпрямляться волосы,— я ждал, что он скажет — останусь жив или... Он не дышал, не отпускал мою руку и молчал, и я отодвинулся от него и спросил как в то утро, когда он бил с моего плеча по самолету:

— Ну?!

— Как молоток, — сказал Васюков, и мне сразу стало жарко и хорошо.

В соломе возились и попискивали мыши, и от этого тоже было хорошо. Я подумал о маме, о Мытищах и обо всем, что потом было.

— Ты видел их? Вблизи? — спросил я Васюкова про немцев.

— Полк, — сказал он. — Все точно. Девять танков, шестнадцать минометов. Вот тут, за сараем, стоят... Надо было драпать тогда, и все. А теперь вот...

Он снова ругнулся в прахриста и замолчал. Мне хотелось знать про немцев, про то, что они сделают с нами, и я попытал опять:

— Ты видел их? Какие они?

Васюков не ответил и через некоторое время спросил сам:

— Не знаешь, что по-ихнему петролеум означает?

— Кажется, керосин, — сказал я. — А что?

— Писанку, понимаешь, отобрали. Допрашивали, что в ей такое...

— А ты что?

— Самодельная водка, мол.

— Ну?

— Да ничего. Пить заставили... А после один там хрен моржовый закричал: «Петролеум» и ударил пустой писанкой... Да мне и не больно было, — сказал Васюков. Он, видно, догадался, что я хотел пододвинуться к нему поближе, и посунулся ко мне сам. Мы немного полежали молчком, потом Васюков сожалеюще сказал:

— Зря валенки тогда не оставили. Крылов, курва, стукнул... Между прочим, тут бураки есть. Цельная куча.

Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому.

Васюков почти лежал на мне и дышал в мое ухо протяжно и глубоко,—не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой, и среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он зачем-то перестал дышать, — соображал, наверно, потом сказал:

— Да на вид они, как мы. Одежа только не наша... Зараз бы валенки пригодились. Крылов, курва, испортил все...

Когда ты не знаешь, о чем надо думать, — заживет ли рана и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка или только ранена в спину навылет, пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или Калач назначит взводным курву Крылова, кто напишет про тебя матери — Лапин или капитан Мишенин, — лучше б Мишенин, потому что письмо у него получится длинней, и мать не сразу начнет плакать, — когда ты не знаешь, об этом или о многом-многом другом надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опасным и заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами, и вот-вот ринешься вниз, и взорвешься миной.

— Ты не спишь? — хриплым полушепотом спросил Васюков.— В наступление, наверно, пошли. Чуешь?

За стенами сарая ревели немецкие танки.

— Может, забудут про нас, а?

Васюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно, разом, начали углубляться-вдавливаться в солому. В ней внизу непугано и занято шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху и, мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами, — может, не заметят. Но как только танки двинулись и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелко и зябко. Мы лежали

ногами на запад, — это я определил еще раньше по исходу щелей в крыше сарая, просаженных Васюковым из ПТР, и грохот танков постепенно иссяк впереди нас, на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали: они — вдвоем, видать — лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами.

— Русен, во зайд ир? Ауфштеен! Шнель!

Говорил один, а второй чему-то смеялся — негромко и нестрашно, как русский. Я знал, что означало слово «ауфштеен», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверно, не мог сразу перестать чурюкать — ровно и напорно, как из спринцовки, и немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами «Ауфштеен», и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ним одновременно полезли из соломы, — я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица, в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот, я увидел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие и широкие. Я не стал поднимать голову, чтобы не встретиться с немцами одному, без Васюкова, а он запутался в распущенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взглянул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким, тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на мои петлицы. Я машинально поднял руку к кубарям и ощупал их, — сначала один, а потом другой. Я подумал тогда сразу о многом — о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей; что они, наверно, наши с Васюковым ровесники, но что я выше их ростом; что они пришли в сарай так, зачем-нибудь, потому что смеялись; что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать!.. Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем, голодно-моровом у нас на Курщине году мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо, и я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке набекрень и с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, расставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полунаклонясь, коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомата дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего френча и покрутил пальцами, будто отвертывал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукно воротника, — еще в Мытищах я прикрутил кубари так, чтобы держались насмерть. Я ощущал горько-желчную вонь автомата, боль в косо сведенных на него глазах, а гайка не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с «мясом», но очкастый крикнул: «Найн», и я позвал Васюкова. Он легко справился с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми, эмалевыми и серебряными знаками отличий неизвестных нам с Васюковым армий, а на второй кровянились одна наша шпала, один ромб и сержантский треугольник. Мой кубарь немец поместил правильно, — между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго...

Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себе автомат, я снова взглянул на коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил: «Найн» и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова.

— Вильст раухен?

Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал: «Битте» и протянул маленькую, на пять сигарет, голубую коробку с серебряным исподом. Там были две сигареты, и я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в три, и было три голубых коробки и три чужих руки, — глаза заплакали сами, без меня. Васюков почти вплотную притянул голову к руке немца, — разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что мне нельзя закуривать, но коренастый держал передо мной горящую зажигалку, и когда я потянулся к ней, Васюков сказал: «Не дури!» и забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку, за ухо, а свою прикурил под непонятный окрик очкастого: тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным, красным пальцем, будто подзывал. Васюков во-

прошающе глянул на меня, блаженно дымя из обеих ноздрей.

— Он, наверно, требует мою сигарету,— сказал я. — Отдай скорей!

— Вот же ж падла! — тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней. Очкастый склонился еще ниже, выискивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой, брезгливо махнул рукой на васюковский набрякший кулак и сказал: «Шайзе». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе...

Они ушли и заперли ворота на засов.

Мы остались вдвоем.

На мне оставались еще три кубаря в петлицах и четыре серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки,— по одному галуну на каждом рукаве...

Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но не глубоко, потому что это не имело уже смысла. Васюков прикурил от своего окурка «мою» сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки.

— Как вата,— сказал он и цыкнул через зубы куда-то вверх.

Я промолчал.

— Тебе ж все равно нельзя было,— проговорил он.

— Ладно,— сказал я. Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота. В Немирово тоже было тихо.

— Могут и не перейти,— немного сгодя сказал Васюков.— Она ж как-никак обрывистая. И вода там как-никак есть...

Он говорил про канаву-ручей впереди наших окопов, и я напомнил о минном поле, о ПТР и о проволочном заграждении. Как-никак колья стоят. Они ж теперь вмерзли и... мало ли!

— Понятно, что вмерзли! — сказал Васюков. Он опять цыкнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевок опустился на солому далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную.

— Слушай, Сергей,— заговорил он и оглянулся на сеялки.— Я вот чего не пойму... Скажи, а куда ж делись наши танки? И самолеты? А? Или их не было? Понимаешь, ить с одними ПТР да с поллитрами... Ну ты же сам все знаешь!

Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб, и спросил Васюкова:

— Про что это я знаю?

Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться.

— Да я ж одному тебе только! — напомнил Васюков и опять оглянулся на веялки. — Что ж тут такого...

— Вот и помалкивай! — сказал я.

Там, у себя на воле, Васюков не спросил бы про это. Ни у меня не спросил бы, ни у себя, ни у кого другого. И я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими, а мы не были врагами ни Родине, ни себе. Вот и все. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюковым не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и ни про наши трудности, ни про майора Калача и ни про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое,— мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем **таком** не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми... и вообще тогда все будет с нами быстрей и лучше. Не надо только разговаривать тут про плохое — и все!

Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул:

— Махал я их! Слышишь? Махал!

— Кого это? — спросил я.

— Ты знаешь. Особистов твоих!.. Вот теперь взять нас... Ну скажи, за каким хреном нас посылали, а? Что мы могли разведать? Как?

— Боем. Огневые точки врага, — сказал я.

— Ты не прикидывайся дурачком, — сказал Васюков. — Пускай бы он своей задницей разведал эти точки, а потом доложил нам — кисло было или как?

Это он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать.

— Не подымай фост! — ответил Васюков. — Что, с самолета нельзя разведать, да?

— А если его нету? — спросил я.

— Куда ж он делся?

— А его и не было!

— Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех! Ну? — фальцетом выкрикнул Васюков. Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про Перемота, про свою рану и плен и с мстительной обидой к себе, будто я один да еще он, Васюков, виноваты во всем, сказал в солому:

— Трепались мы с тобой, понял? А теперь вот все гибнет!

— Ну это ты не свисти! — угрожающе и уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы, а я лег вниз лицом и заревел похоронно-трудно и мне нужно. Я ревел в голос, с верующим причетом о погибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же:

— Кляп им в горло, чтоб голова не шаталась! Ясно? Кляп им в горло!

Он так и не придвинулся ко мне и, когда у меня не осталось ни слез, ни слов, сказал:

— Из ПТР тоже можно затокарить будь здоров! Ссадил же я «раму»? Ссадил или нет? Чего молчишь?

— Ну, ссадил, — сказал я. — Ты же с моего плеча бил.

— Конечно, с твоего!.. Капитан обещал к ордену представить.

— Потом получишь, — примирительно сказал я.

— Вместе получим, — заявил Васюков. — И носить будем поровну, неделю я, а неделю ты.

— Ладно, — сказал я, и он пошел за веялки и вернулся с двумя небольшими бураками.

В полдень в сарай явился немецкий солдат в каске и с винтовкой. Он встал в проеме ворот, прищурился на веялки и дважды проговорил: «Раус». Немец не видел нас, и когда мы зашевелились, он стащил с плеча винтовку и отступил за ворота.

— Раус! Лёс!

Я сидел и что-то искал в соломе. Я не знал ни имени ему, ни размера, — что-то доступное только сердцу и без чего нельзя было встать и идти, и немец должен был знать про это. Васюков тоже пошарил вокруг себя и захватил горсть соломы.

— Чего он, Сереж? А?

Щеки у Васюкова были серые, и пух на них стоял дыбом.

— Это он так, Коль! Так зачем-нибудь! — сказал я, и Васюков поспешно кивнул. Пока мы вставали на ноги, он несколько раз зачем-то назвал меня по имени и я его тоже. Мы пошли к воротам, то и дело приостанавливались, чтобы почистить и оправить шинели друг на друге, и немец трижды и не злобно проворчал: «Лёс!» На нем низались две шинели, и нижняя была длинней верхней. Он отступил в сторону, зайдя нам в тыл, и скомандовал: «Форвертс». Мы пошли вдоль стены сарая к гряде не то ракит, не то вязов. Там виднелись большие, крытые машины и немцы. Слева от нас неясно проглядывалось поле, где должен был лежать Перемот, а справа в седой дымке кучились постройки Немирово, — снег падал густой, липкой моросью. Васюков почти нес меня, хотя я мог идти сам. Он нарочно мешал мне переступать и раза два больно задел локтем мою спину.

— Ты б поохал! — шепнул он, клонясь подо мной, и я тихонько охнул раз и второй.

— Погромче не можешь? — изнуренно спросил Васюков,

и я заохал громче, а он еще ниже склонился и понес меня вихляючись, как мешок с солью.

В кузове крытой машины, куда нас стволом винтовки подсадил конвоир, лежали порожние железные бочки. За нами захлопнули дверку, и мы не стали садиться и взялись за руки...

— Надо было туда! Туда! Надо было туда!..

Мы стояли, вцепившись друг в друга, а бочки раскатывались и гремели, и Васюков кричал это и торкался головой мне в грудь, потому что был ниже меня ростом. Я тоже кричал, но не Васюкову, а себе, и не одно и то же, как он, а разное, потому что машину трясло и подбрасывало — «нас везут полем!» — и мысли тоже прыгали и уносились в глубину незапамятного детства, где тебя нельзя было найти войне, разведке боем, немцам и самому себе!.. Машину кидало и подбрасывало, и когда она замедляла ход, мы приседали к полу и почти наваливались друг на друга. Тогда Васюков замолкал, и в темноте я видел, как блестят и ходят из стороны в сторону его глаза. На таких полуостановках я тряс Васюкова за плечи, и мы стукались лбами, но то, что мне нужно было ему сказать, не поддавалось слову, потому что оно не хотело быть сказанным и стать явью. Это было длинно,— «надо упасть кверху лицом, а не вниз и не на бок, и надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русые с завивом волосы, и руки надо разбросать, а не скрючить, и ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо...» Это получалось длинно, и оно не вмещалось в наше время на полуостановках машины, а того единственного слова, которое бы разом и полностью выразило последний смысл последнего в нашей жизни, я не находил. Я только тряс Васюкова и видел в темноте, как углисто блестят его глаза. Мы одновременно почуяли конец тряски, но не присели, а только подались назад, к дверке, потому что машина резко набрала скорость. Бочки тоже откатились к заднему борту и запели ровным звонистым гулом. Мы стояли и держались друг за друга. Машина все ускоряла и ускоряла ход, и Васюков расслабил на мне свои руки и приподнялся на носках сапог.

— На сашу́ выехали, Сереж! Чуешь? На сашу́! — сказал он так, будто мы были там, у себя.

— Ага, Коль! По саше́ едем! По саше́! — сказал я и подумал, что по-другому нельзя называть дорогу, — так было ближе к своим. Мы с полчаса еще ехали стоя, потом, не сговариваясь, сели и уперлись ногами в бочки. У меня больно и свербяще ныла спина. Там будто сидела крыса и вгрызалась в меня под толчки сердца все глубже и глубже. Мне хо-

телось, чтобы Васюков спросил про рану,— может, полегчало бы, но он молчал, и тогда я пожаловался ему сам.

—Это рубаха отлипла,— сказал он.— Давай обопрись на меня.

Мы прислонились спиной друг к другу, и мне стало еще больней,— у Васюкова, как молоток, стучало сердце прямо в мою рану. Наверно, он догадался про это, потому что положил под лопатки мне свою шапку, а сам перегнулся так, что я почти улегся на нем горизонтально. Он опять напомнил про сашу́, и я повторил за ним его фразу...

Когда часа через три машина остановилась, дверку кузова открыл уже знакомый нам с Васюковым немец в каске. На нем низались две шинели, и верхняя была короче нижней. Он тем же «немировским» приемом держал винтовку и таким же «сарайным» голосом сказал: «Раус». Васюков полез из машины первым. Он пятился задом вперед, обратив на меня лицо, и за ним мне виделся немец в каске, падающий снег и бесконечная, какая-то прозрачно-кружевная, белая стена. Васюков сполз на землю и протянул ко мне руки.

— Сереж! Уже все! Иди скорей!

Он наполовину всунулся в кузов и схватил меня за ноги. Я догадался, о чем он подумал,— раненого о с т а в я т в машине, а здорового п о в е д у т одного,— и толкнул его сапогом в грудь.

— Чего ты?! Иди скорей! Ну? — позвал Васюков, не опуская рук. На меня он глядел умоляюще и ненавистно — все вместе. Я пополз на четвереньках, и на краю кузова Васюков подхватил меня и поставил на землю.

— Все теперь! Уже все! — сказал он клекотно. Он стоял лицом ко мне и к машине. Шапка сидела на нем задом наперед, и поверх нее я видел — совсем рядом — обындевевшую проволочную стену и зыбуче-миражные,— потому что шел снег,— сторожевые вышки. За ними, в далекой глубине, неясно различались какие-то приземистые постройки, похожие на наши обоянские клуни. От их приплюснутых желтоватоталых крыш всходил и метался под ветром густой, радужный пар, а вокруг построек, по замкнутому кругу, текла и водопадно шумела серая, плотно сбитая толпа н а ш и х,— я увидел и узнал их сразу, издали, одновременно с вышками и с проволочной стеной. Васюков тогда тоже оглянулся и увидел все сам, но я опередил его и крикнул:

— Коль! Наши! Видишь?

Он обернулся и зачем-то прикрыл мне рот ладонью. Немец пнул в нас стволом винтовки и озябло сказал: «Форвертс». За машиной у проволочной стены стояла не видимая нами до этого будка. Она тоже была белой от инея, и на часовом низались две шинели, одна короче другой. Он распахнул перед нами белые проволочные ворота, и мы с Васюковым побежали к постройкам,— он впереди, а я сзади, и мне все время хотелось оглянуться назад, на немцев,— тут, на виду у своих, казалось, что я вижу их в последний раз...

— Братцы! Может, скажете, где мы находимся, а? Как называется это место, а?

Васюков спрашивал это на бегу, и н а ш и что-то ответили перебойными голосами, и он обернулся ко мне и прокричал:

— Это Ржев, товарищ лейтенант! Ржев!..

В колонне н а ш и х не было пяди свободного пространства, потому что люди двигались, навалясь на плечи и спины друг другу, и мы с Васюковым пристроились сбоку. Мне далеко виднелся валообразный полукруг своего фланга, и на какую-то кроху секунды я забыл про разведку боем, про рану и немцев; тут был не один и не два стрелковых батальона, и я оказался, как и положено при моих серебряных галунах, на отлете от строя. Я видел одновременно сотни людей, похожих друг на друга, потому что каждый одинаково ник и горбился под шинелью без хлястика, сцепив руки под грудью, и у всех поверх сапог и ботинок были намотаны обрывки какой-то ветоши. Колонна двигалась медленно. Она больше семенила на месте, рождая топотом ног какой-то ссыпно-обвальный гул. Неизвестно зачем я пошел вперед вдоль строя, и при каждом шаге у меня в спине ударами взрывалась боль.

— Товарищ лейтенант!

Я оглянулся. Васюков тоже держал опущенные по швам руки, и шапка на нем сидела правильно.

— Не надо, товарищ лейтенант!

У него были белые и пустые глаза, а губы выпячивались трубочкой и дрожали. Я не понял, о чем он просил меня, а узнавать не имело смысла. Мы приблизились к колонне и пошли рядом. Впереди, над широкими крышами четырех построек, похожих на клуни, как ковыль в засушь, метался не то пар, не то дым. Постройки стояли попарно, метрах в тридцати одна пара против другой, и колонна терялась в их проходе. Мы топтались на месте. Пологие крыши «клунь» вызывали почти отрадное воспоминание о немировском сарае, и я спросил у Васюкова на ухо, что там такое. Он взглянул на меня пустыми глазами и поднял воротник моей шинели. Уцелевший в петлице кубарь сразу прилип к щеке, и я сместил его к губам, чтоб он оттаял. Васюков подступил к крайнефланговому пленному и спросил про постройки. У пленного свисала с плеча обледенелая и запаскуженная чем-то каска, подвязанная обмоткой. Васюков спросил его хорошо, как знакомого, и дотронулся до каски.

Пленный диковато зыркнул на него и обеими руками схватился за плечи впереди идущего.

— Братики! Не давайте ему! Заступитесь, братики!— непутево заголосил он и лягнул Васюкова ногой, запеленутой в брезентовый лоскут. В колонне заругались озлобленно и бессильно. Васюков раскосо взглянул на меня, а я отвернул воротник, чтобы виднелся кубарь, но в нашу сторону никто уже не смотрел, потому что мы отошли на свое прежнее место. В моем теле возились и ярились крысы,— много крыс, и я ощущал не боль, а какую-то липкую и лютую мразь их живой тяжести. Мне хотелось прилечь прямо тут, где мы топтались, и я сказал о том Васюкову. Он поднял мой воротник, обхватил меня пониже раны, и мы пошли вдоль колонны к постройкам. Наверно, Васюков и сам мечтал о соломе, потому что не вынес неизвестности и вторично спросил, теперь уже у всех, кто мог слышать:

— Граждане, не знаете, что там такое, а?

Ему никто не ответил,— не знали, может, о чем он, и Васюков пожаловался всем сразу:

— У меня командира ранило!

В колонне поинтересовались, куда мне угодило, и Васюков сказал. Его спросили, когда и где нас взяли, и он зачем-то назвал Волоколамск, а не Немирово, и что мы попали только вчера вечером. Кто-то отточенно тонким голосом попытал, куда переехала из Кремля партия и правительство — в Самару или в Куйбышев, но Васюков этого не знал. Он, наверно, с умыслом толкнул меня локтем пониже раны, но мне хотелось лечь, а не охать, и я подогнул колени.

— В гроб мать! В сараях, говорю, что? — на крике спросил Васюков толпу, и ему сразу ответили:

— А то не сараи. То склады «Заготзерно».

— А теперь что там?

— Раненые да тифозники... Там, брат, жи-изня! Там крыша и нары небось!— распевно и завистливо сказал кто-то. Васюков не поднимал меня. Я лежал на спине и видел его одного. Мне было хорошо и отрадно лежать и высоко над собой видеть одного Васюкова. Нос у него сидел на боку, и щетина на лице топырилась щеткой и была белой, как у святого на картине,— обындевела. Он подождал, чтобы я полежал немного, потом присел передо мной на корточки.

— Все. Там, вишь, нары. Ты не рассолаживайся.

— Да я не рассолаживаюсь,— сказал я.— Полежу тут, и все пройдет. Ладно?

— В складе лучше пройдет. Там нары и крыша... Давай руки! — приказал Васюков, и в голосе его была растерянность и тревога. Он понес меня на закорках, и мне хорошо виднелась желтая потечная крыша ближнего склада, курившаяся не то дымом, не то паром, черная, обшитая просмоленными досками стена, а под ней навально-раздерганная поленница, отсвечивающая иссиня-белесым и матовым. Сразу я подумал про осиновые дрова,— от них всегда не то дым, не то пар, но это были не дрова. Я толкнул Васюкова коленями и сказал, чтобы он поворачивал назад, к колонне. Он крикнул, чтобы я не рассолаживался, и выругался в бога. Он семенил, склонясь почти до самой земли, оттого и не видел того, что различал я.

— Там мертвецы лежат! Голые! — сказал я под свои пинки ему в зад, и Васюков побежал зигзагами, то и дело выкрикивая:

— Сиди! Сиди!

У поленницы он споткнулся и выпустил мои руки. Я съехал на землю, лег на спину и стал глядеть в небо. Минут через пять на нем обозначилось белое лицо Васюкова с большими, белыми глазами, и он прокричал большим, белым ртом:

— Это они от тифа, понял? Раненых тут ни одного нету!

Справа, метрах в тридцати, топотала и гудела, минуя нас, колонна пленных, и мне хотелось туда. Я сказал об этом Васюкову, но сам себя не услыхал,— голоса не было, он запал куда-то внутрь, в нарывную боль под лопаткой. Васюков решил, что мне надо пососать снег, и возле самой поленницы мертвецов зачерпнул его ладонью.

— Смочи горло! — крикнул он.— Слышишь?

Я перевалился на живот и спрятал лицо. Васюков разговаривал со мной, как с глухим, на крике в ухо, но я слышал все — темный безъязыкий гул в колонне, какой-то неумолчно ровный шум в складе, будто там, как в спичечной коробке, сидел и возился обессилевший шмель, слышал и ощущал удары своего сердца — «как молоток!» — слышал шепотную, про себя, на меня, матерщину Васюкова. Он приподнял и посадил меня, а сам присел на корточки спиной ко мне. Я обхватил его шею руками, и мы пошли, но не к колонне, а вдоль поленницы, в конец склада. Во всю его ширину там оказались двери-ворота, обросшие желтой, бугристой наледью. Через пазы створок наружу высовывались обрывки шинелей, гимнастерок, нательного белья и пробивались вялые струи не то дыма, не то пара. Не ссаживая меня, Васюков постучал кулаком в ворота. В складе возился шмель. Васюков подождал и постучал снова. Я висел на нем и глядел в сторону колонны. Сбитно-плотная и серая, она колыхалась и гудела в каких-нибудь тридцати метрах от нас. Васюков толкнул ворота ногой и не удержался. Мы упали плашмя, и я остался

лежать, а он поднялся, разогнался и плечом ударился в ворота. Потом еще и еще. То правым плечом, то левым.

— Откройте! Мать вашу в гроб! В причастие!..

Я лежал и глядел в небо. Оно все сдвигалось и сдвигалось куда-то вбок, потом понеслось на меня и оказалось нашей Обоянью, только вместо тюрьмы на площади был амбар, и Маринка взяла меня за указательный палец и мы побежали к нему...

Это мое видение пропало, когда от колонны подошел к нам коренастый, черноликий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и грязной кавалерийской венгерке. Он сказал Васюкову, что без Тимохи двери не откроются, а меня спросил:

— Второй не успел сорвать, да?

Он спросил злобно, оскалив зубы, и я догадался, о чем он — о моем оставшемся кубаре.

— Сволочи! Как чуть что — амуницию в канаву и под ополченца!

— Дура еловая! Не видишь, что человек ранен? — мирно сказал ему Васюков.— Давай подмогни стучать!

— Тимоха так тебя стукнет, что костей не соберешь! — мстительно проговорил пленный и пошел к колонне. Мне тоже хотелось туда, но говорить об этом Васюкову было незачем. Он несколько раз еще разгонялся и ударялся плечом о ворота. Там за ними возился и гудел шмель. Снег падал косо и стремительно, и я не мог уловить его ртом,— тут была неветреная сторона.

— Давай руки,— сказал Васюков. Щетина на его лице еще больше побелела и вздыбилась. Я повис на нем, и мы двинулись к колонне, как мне хотелось. Мы опять пристроились сбоку, и кто-то невидимый мне сказал одышным, дрожащим голосом — пожилой, видно, был:

— Вы бы, ребята, поменьше пили, а побольше закусывали. А то, вишь, оно как получается...

Васюков ругнулся и поглядел на меня длинно и мечтательно,— наверно, вспомнил про самогон и консервы в день моей свадьбы. Он спросил у всех ближних к нам, кто такой Тимоха и кем он тут служит. В колонне молчали, как молчат о чем-нибудь тайном или опасном.

— Говорю, Тимоха кем тут у вас, а?

Мне тогда снова захотелось полежать лицом в небо, и я не услыхал, что ответили пленные Васюкову...

Я сидел у подветренной стены склада, рядом с тем штабелем. Наушники у моей шапки были опущены, а тесемки завязаны мертвым узлом. Рот мне закрывал поднятый воротник шинели, и на кубаре намерзла большая круглая ледышка. Прямо передо мной, метрах в тридцати, топотала колонна. По узлу на тесемках шапки, по тому, как были укрыты полами шинели мои колени и как я полусидел-полулежал совсем рядом с поленницей, я догадался, что Васюков меня бросил, а сам... Может, убежал уже! Мои руки были засунуты в карманы шинели, — Васюков, конечно, засунул, навсегда, перед своим уходом, и я потянул их, чтобы пощупать пульс,— сам же говорил, что он у меня, как молоток, а рана с гулькин нос! Я никак не мог стянуть свои шерстяные командирские перчатки, — на кисти их туго зажимали застегнутые манжеты гимнастерки,— это тоже он, сволочь, зачем-то заправил, а сам...

Пульс бился. На обоих запястьях. Мне было жарко и хотелось пить, но снег не падал: ветер улегся, и небо расчистилось, и над кружевом проволочного забора рдело закатное солнце с двумя радужными столбами по бокам. Снега не было нигде, кроме запретных зон у сторожевых вышек и еще рядом со мной, у поленницы. Тут он целел плотным настом, и лишь в нескольких местах в нем были протоптаны проходы-коридоры, и виделся наш с Васюковым зигзагообразный след. Из поленницы — и все почему-то вверх, в небо, торчали синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону, к колонне, стриженые обледенелые головы светились медно, и мне казалось, что они звучат...

Пленный был в пилотке, натянутой чулком на лицо, и мою шапку тащил за макушку, отчего тесемки врезались мне в горло. Я боднулся, и пленный побежал к колонне. Были стылые, прозрачные сумерки: над предворотней будкой в небе обозначался ущербный месяц. Может, я первый из всех увидел тогда, как от ворот в глубь лагеря заковыляла на трех ногах белая лошадь. Она понуждалась к складу, у которого я сидел, но недалеко от поленницы попятилась назад, споткнулась и заржала — трубно и длинно, и к ней тогда половодно хлынула колонна пленных...

Это продолжалось долго — смятенная поваль, крики и стоны, — а потом появился Васюков. Полы его шинели были темными, и в руках он держал какой-то блестящий, розовый пласт. Он окликнул меня, как вдогон издали, и я приподнял руку.

— Тимоху искал,— рыдающе сказал он.— А после вот лошадиную легкую достал. Она совсем... совсем теплая.

Когда я снова увидел Васюкова, месяца над предворотней будкой уже не было, и колонна пленных почти не разли-

чалась. Васюков топал сапогами у моих ног, бил себя руками по бокам и кричал:

Ува-ува-ува-ува!
Ува-ва! Ува-ва!

Мне было жарко и хотелось пить.

От поленницы несся колокольный звон.

Потом я увидел, как Перемот бежал впереди, а мы с Васюковым сзади, плечо к плечу, и у него влажно и сладко булькала под шинелью писанка, но я знал, что в ней ничего нету. Мы бежали по немировскому полю — красному от мака, а стояки с колючкой перед моим взводом были кружевно-белыми, и сторожевые вышки над ними тоже. Впереди ручья — там же минное поле! — стоял и ждал нас по команде «смирно» капитан Мишенин, и я врезал перед ним сапогами и каким-то единственным, большим, круглым словом доложил ему обо всем сразу — о числе вражеских солдат, танков и минометов в Немирове, о медном кресте Перемота, о бумажнике немца с ромбом, шпалой и моим кубарем, о растерзанной пленными трехногой белой лошади и поленнице...

1961